М.А.БАКУНИН

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУНИН

Государственность и Анархия

Краткая биография автора

Михаил Александрович Бакунин русский мыслитель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов народничества. Родился 18 (30) мая 1814 в селе Прямухино, Новоторжского уезда Тверской губернии,в дворянской семье тверского помещика Александра Михайловича Бакунина и Елизаветы Александровны Бакуниной (урождённой Муравьёвой).Бакунин отклонял статичные и иерархические системы власти в любой форме. Он также не признавал любую форму иерархической власти, исходящую от воли государя или даже от государства с всеобщим избирательным правом. В своей книге «Бог и государство». Михаил Александрович напрочь отвергал идею любого привилегированного положения или класса, так как социальное и экономическое неравенство, следующее из классовой системы (а также системы национального и гендерного угнетения), несовместимо с принципами индивидуальной свободы. В то время как последователи идей либерализма настаивали, что свободные рынки и конституционные правительства подразумевают индивидуальную свободу, утверждал, что капитализм и государство в любой форме несовместимы с индивидуальной свободой рабочего класса и крестьянства.

Самое значительное из сочинений Бакунина было издано в 1874 году отдельной книгой, которая называлась «Государственность и анархия». Борьба двух партий в интернациональном обществе рабочих». В этой книге Бакунин утверждал, что в современном мире есть два главных, борющихся между собою течения: государственное и социал-революционное. Бакунин утверждал в своей работе, что самая способная к развитию государственности нация — немцы. Он пытался доказать, что борьба с пангерманизмом является главной задачей для всех народностей славянского и романского племени, но успешно бороться с пангерманизмом невозможно путём создания политических противовесов ему в виде какого-нибудь великого всеславянского государства и т. п., так как на этом пути немцы, благодаря их государственным талантам и их природной способности к политической дисциплине, всегда возьмут верх.

Скончался 19 июня (1 июля) 1876 в Швейцарском городе Берн.

М.А.Бакунин – «Государственность и Анархия»; 86 стр;
Электронная библиотека «СКИТ ОТШЕЛЬНИКА»;
Интернет; 2016 год.

Михаил Бакунин.
Государственность и Анархия

Интернациональное общество рабочих, едва зародившееся тому назад девять лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуататоров чернорабочего труда смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и мало определенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственно-экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам.

Министр иностранных дел псевдонародного правления, неизменный изменник республики, но зато верный друг и защитник ордена иезуитов, верующий в Бога, но презирающий человечество и презираемый, в свою очередь, всеми честными поборниками народного дела, пресловутый ритор Жюль Фавр, уступающий разве только одному г. Гамбетта честь быть прототипом всех адвокатов, с радостью принял на себя роль злостного клеветника и доносчика. Между членами так называемого правительства *«Национальной Защиты* он, без сомнения, был один из тех, которые наиболее способствовали обезоружению народной обороны и явно изменнической сдаче Парижа в руки надменного, дерзкого и беспощадного победителя. Князь Бисмарк одурачил его и надругался над ним в виду целого света. И вот, как бы возгордившись двойным позором, и своим собственным, и позором преданной, а может быть, и проданной им Франции, побуждаемый в одно и то же время желанием угодить осрамившему его великому канцлеру победоносной Германской империи, а также и глубокою ненавистью своею к пролетариату вообще, а в особенности к парижскому рабочему миру, г. Жюль Фавр выступил с формальным доносом против Интернационала, члены которого, стоя во Франции во главе рабочих масс, пытались возбудить восстание всенародное и против немецких завоевателей, и против домашних эксплуататоров, правителей и предателей. Преступление ужасное, за которое Франция официальная или буржуазная должна была наказать с примерною строгостью Францию народную!

Таким образом случилось, что первым словом, произнесенным французским государством на другой день страшного и постыдного поражения, было слово гнуснейшей реакции.

Кто не читал достопамятного циркуляра Жюля Фавра, в котором грубая ложь и еще грубейшее невежество уступают лишь бессильной и яростной злости республиканца-ренегата? Это отчаянный вопль не одного человека, а целой буржуазной цивилизации, истощившей все на свете и осужденной на смерть своим окончательным изнеможением. Чувствуя приближение неминуемого конца, она с злобным отчаянием хватается за все, лишь бы продлить свое зловредное существование, призывая на помощь всех идолов прошедшего, низвергнутых некогда ею же самою, и Бога, и церковь, и папу, и патриархальное право, а пуще всего как вернейшее средство спасения полицейское покровительство и военную диктатуру, хотя бы даже прусскую, лишь бы она охраняла *«честных людей* от ужасной грозы социальной революции.

Циркуляр г. Жюля Фавра нашел отголосок, и где бы вы думали в Испании! Г. Сагаста, минутный министр минутного испанского короля Амедея, захотел, в свою очередь, угодить князю Бисмарку и обессмертить свое имя. Он также поднял крестовый поход против Интернационала и, не довольствуясь бессильными и бесплодными мероприятиями, вызвавшими только весьма обидный смех испанского пролетариата, также написал фразистый дипломатический циркуляр, за который, однако, с несомненным одобрением князя Бисмарка и его адъюнкта Жюля Фавра получил заслуженную нахлобучку от более осмотрительного и менее свободного правительства Великобритании, а спустя несколько месяцев и свалился.

Кажется, впрочем, что циркуляр г. Сагасты, хотя и говоривший во имя Испании, был задуман, если не сочинен, в Италии под непосредственным руководством многоопытного короля Виктора Эммануила, счастливого отца несчастного Амедея.

В Италии гонение против Интернационала было поднято с трех разных сторон; во-первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов Интернационала с франкмасонами, с якобинцами, с рационалистами, деистами и либеральными католиками. По определению св. отца, принадлежит к этому отверженному обществу всякий, кто не покоряется слепо его боговдохновенным словоизвержениям. Так

точно 26 лет тому назад один прусский генерал определял коммунизм: «Знаете ли вы, говорил он своим солдатам, что значит быть коммунистом? Это значит мыслить и действовать наперекор высочайшей мысли и воле его величества короля.

Но не один римско-католический папа проклял Интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер *Джюзеппе Маццини* , известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как метафизик-деист и основатель новой церкви в Италии, да, сам Маццини в 1871 г., на другой день после поражения Парижской Коммуны, в то самое время как зверские исполнители зверских версальских декретов расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению также и свое, якобы патриотическое и революционное, в сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем богословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к Парижской Коммуне и задушить в зародыше только что возникавшие интернациональные секции. Вышло совсем напротив: ничто не способствовало так усилению этих симпатий и умножению интернациональных секций, как его громкое и торжественное проклятие.

Итальянское правительство, враждебное папе, но еще более враждебное Маццини, в свою очередь, не дремало. Сначала оно не поняло опасности, грозящей ему со стороны Интернационала, быстро распространяющегося не только в городах, но даже в селах Италии. Оно думало, что новое общество будет лишь служить противодействием успехам буржуазно-республиканской пропаганды Маццини, и в этом отношении оно не ошиблось; но оно скоро убедилось, что пропаганда принципов социальной революции в среде страстного населения, доведенного им же самим до крайней степени нищеты и угнетения, для него опаснее всех политических агитаций и предприятий Маццини. Смерть великого итальянского патриота, воспоследовавшая скоро после его гневного выступления против Парижской Коммуны и против Интернационала, вполне успокоила с этой стороны итальянское правительство. Обезглавленная партия маццинистов не грозит ему отныне ни малейшею опасностью. В ней начался уже видимый процесс разложения, и так как ее начала и цель, а также и весь состав чисто буржуазные, то она являет несомненные признаки той немощи, которою поражены в наше время все буржуазные начинания.

Другое дело пропаганда и организация Интернационала в Италии. Они обращаются прямо и исключительно к чернорабочей среде, которая в Италии, равно как и во всех других странах Европы, сосредоточивает в себе всю жизнь, силу и будущность современного общества. Из буржуазного мира примыкают к ней только те немногие люди, которые от души возненавидели настоящий порядок, порядок политический, экономический и социальный, повернулись спиною к классу, их породившему, и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется, только тогда, когда, возненавидев общебуржуазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия; в таком случае, повторю я, они действительно драгоценны. Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву; но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и разобщения и умение организоваться и создавать союзы, которые, в свою очередь, создают ту сознательную боевую силу, без которой немыслима победа.

В Италии, как в России, нашлось довольно значительное количество таких молодых людей, несравненно более, чем в какой-либо другой стране. Но, что несравненно важнее, в Италии существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большею частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат, состоящий из двух-трех миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников и около двадцати миллионов крестьян-несобственников. Как уже сказано выше, вся эта бесчисленная масса людей доведена притеснительным и воровским управлением высших классов под либеральным скипетром короля-освободителя и собирателя итальянских земель до такого отчаянного положения, что самые поборники и заинтересованные участники настоящего управления начинают признаваться и говорить громко как в парламенте, так и в официальных журналах, что далее идти по этому пути невозможно и что необходимо сделать что-нибудь для народа во избежание всеразрушающего народного погрома.

Да, может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии, нигде, не исключая даже самой Испании, несмотря на то, что в Испании уже существует официальная революция, а в Италии, по-видимому, все тихо. В Италии весь народ ожидает социального переворота и всякий день сознательно стремится к нему. Можно себе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается поныне итальянским пролетариатом программа Интернационала. В Италии

не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в не которой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и в Швейцарии таких работников много; в Италии же, напротив, очень мало, так мало, что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором гг. Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии отзываются с глубочайшим презрением, и совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в вышеозначенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции.

Об этом мы поговорим ниже пространнее, теперь же ограничимся выводом следующего заключения: именно вследствие этого решительного преобладания нищенского пролетариата в Италии пропаганда и организация Интернационального общества рабочих в этой стране приняли характер самый страстный и истинно народный; и именно вследствие этого, не ограничиваясь городами, они немедленно охватили сельское население.

Итальянское правительство вполне понимает ныне опасность этого движения и всеми силами, но тщетно старается задушить его. Оно не издает громких, фразистых циркуляров, но действует, как подобает полицейской власти, втихомолку, душит без объяснений, без крика. Закрывает наперекор всем законам одно за другим все рабочие общества, исключая только те, почетными членами которых считаются принцы крови, министры, префекты и вообще люди знатные и почтенные. Все же другие рабочие общества оно гонит немилосердно, захватывает их бумаги, их деньги, а членов их держит по целым месяцам без суда и даже без следствия в своих грязных тюрьмах.

Нет сомнения, что, действуя таким образом, итальянское правительство руководствуется не только своею собственною мудростью, но также советами и указаниями великого канцлера Германии, точно так же, как прежде следовало послушно приказаниям Наполеона III. Итальянское государство находится в том странном положении, что по количеству жителей и по объему своих земель оно должно бы быть причислено к великим державам, по своей же действительной силе, разоренное, гнило организованное и, несмотря на все усилия, весьма плохо дисциплинированное, к тому же ненавидимое народными массами и даже мелкой буржуазией, оно еле-еле может быть признано державой второй величины. Поэтому ему необходим покровитель, т. е. повелитель вне Италии, и всякий найдет естественным, что после падения Наполеона III князь Бисмарк заступил место *необходимого союзника* этой монархии, созданной пьемонтскою интригою на почве, уготованной патриотическими усилиями и подвигами Маццини и Гарибальди.

Впрочем, рука великого канцлера пангерманской империи чувствуется теперь в целой Европе, исключая разве только Англии, которая, однако, не без беспокойства смотрит на это возникающее могущество, да еще Испании, обеспеченной против реакционного влияния Германии по крайней мере на первое время своею революцией, равно как и своим географическим положением. Влияние новой империи объясняется изумительным торжеством, одержанным ею над Францией; всякий признает, что она по своему положению, по громадным средствам, завоеванным ею, и по своей внутренней организации занимает ныне решительно первое место между европейскими великими державами и в состоянии дать почувствовать каждой из них свое преобладание; а что влияние ее непременно должно быть реакционным, в этом не может быть и сомнения.

Германия в настоящем своем виде, объединенная гениальным и патриотическим мошенничеством[1] князя Бисмарка и опирающаяся, с одной стороны, на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля-императора; а с другой на верноподданнический патриотизм, на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкое мещанство, немецкая бюрократия, немецкая церковь, весь цех немецких ученых и под их соединенным влиянием нередко увы! и сам немецкий народ Германия, говорю я, гордая деспотически-конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения.

[1] В политике, равно как и в высших финансовых сферах, мошенничество считается доблестью.

а именно полюс государственности, государства, реакции.

Германия государство по преимуществу, как им была Франция при Людовике XIV и при Наполеоне I, как им не переставала быть Пруссия по настоящее время. Со времени окончательного создания прусского государства Фридрихом II был поднят вопрос: кто кого поглотит, Германия ли Пруссию или Пруссия Германию? Оказывается, что Пруссия съела Германию. Значит, доколе Германия останется государством, несмотря ни на какие мнимо либеральные, конституционные, демократические и даже социально-демократические формы, она будет по необходимости первостепенною и главною представительницею и постоянным источником всех возможных деспотизмов в Европе.

Да, со времени образования новой государственности в истории, с самой половины шестнадцатого века, Германия, причисляя к ней Австрийскую империю, поскольку она немецкая, никогда не переставала быть, в сущности, главным центром всех реакционных движений в Европе, даже не исключая того времени, когда великий коронованный вольнодумец Фридрих II переписывался с Вольтером. Как умный государственный человек, ученик Маккиавеля и учитель Бисмарка, он ругался над всем: над Богом и над людьми, не исключая, разумеется, своих корреспондентов-философов, и верил только в свой *«государственный разум*, опиравшийся притом, как всегда, на *«божественную силу многочис-ленных баталионов* (Бог всегда на стороне сильных баталионов, говорил он), да еще на экономию и возможное совершенство внутреннего административного управления, разумеется, механического и деспотического. В этом, по его, да также и, по нашему мнению, заключается, действительно, вся суть государства. Все же остальное лишь невинная фиоритура, имеющая целью обмануть нежные чув-ства людей, неспособных вынести сознания суровой истины.

Фридрих II усовершенствовал и окончил государственную машину, построенную его отцом и дедом и подготовленную его предками; и эта машина сделалась в руках достойного преемника его, князя Бисмарка, орудием для завоевания и для возможного пруссогерманизированья Европы.

Германия, сказали мы, со времени реформы не переставала быть главным источником всех реакционных движений в Европе; от половины XVI века до 1815 года инициатива этого движения принадлежала Австрии. От 1815 до 1866 года она разделилась между Австриею и Пруссиею, однако с преобладанием первой, покуда управлял ею старый князь Меттерних, т.е. до 1848 года. С 1815 года приступил к этому святому союзу чисто германской реакции гораздо более в виде охотника, чем дельца, наш татаро-немецкий, всероссийско-императорский кнут.

Побуждаемые естественным желанием снять с себя тяжкую ответственность за все мерзости, учиненные Священным союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому, что мы страстно желаем ему полнейшего преуспеяния и свободы, мы ненавидим эту поганую всероссийскую империю так, как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социальным демократам, программа которых ставит первою целью основание пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся прежде всего к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность, в каком бы то виде ни было, будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее.

В самом деле, императорская Россия, в лице двух венценосцев, Александра I и Николая, казалось, весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы: Александр рыскал с конца в конец и много хлопотал и шумел; Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому, что не хотели, а потому, что не могли, оттого что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы; им предоставлена была лишь почетная роль пугал, действовали же только Австрия, Пруссия и, наконец, под руководством и с позволения той и другой французские Бурбоны (против Испании).

Империя всероссийская только один раз выступила из своих границ, в 1849 г., и то только для спасения Австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжение нынешнего века Россия два раза душила польскую революцию и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю, разумеется, об императорской России. Россия народная немыслима без польской независимости и свободы.

Что русская империя, по существу своему, не может хотеть другого влияния на Европу, кроме самого зловредного и противусвободного, что всякий новый факт государственной жестокости и торжествующего притеснения, всякое новое потопление народного бунта в народной крови, в какой бы

то стране ни было, всегда встретят в ней самые горячие симпатии, кто может в этом сомневаться? Но не в этом дело. Вопрос в том, как велико ее действительное влияние, и занимает ли она по своему уму, могуществу и богатству такое преобладающее положение в Европе, чтобы голос ее был в состоянии решать вопросы?

Достаточно вникнуть в историю последнего шестидесятилетия, а также и в самую суть нашей татаро-немецкой империи, чтобы ответить отрицательно. Россия далеко не такая сильная держава, какою любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших квасных патриотов, ребяческое воображение западных и юго-восточных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклоняться перед всякою военною диктатурою, домашнею и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждою, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение петербургской империи, тот знает, что на западе и против запада она собственною инициативою, не будучи вызвана к тому какою-либо великою западною державою и не иначе как в самом тесном союзе с нею, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла искони только в том, чтобы примазаться как-нибудь к чужому начинанию; и со времени хищнического разделения Польши, задуманного, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собою точно так же и Швецию, Пруссия была именно тою западною державою, которая не переставала оказывать эту услугу всероссийской империи.

В отношении к революционерному движению в Европе Россия в руках прусских государственных людей играла роль пугала, а нередко и ширм, за которыми они очень искусно скрывали свои собственные завоевательные и реакционные предприятия. После же удивительного ряда побед, одержанных прусско-германскими войсками во Франции, после окончательного низложения французской гегемонии в Европе и замещения ее гегемонией пангерманскою, ширм этих стало не нужно, и новая империя, осуществившая заповеднейшие мечты немецкого патриотизма, выступила откровенно во всем блеске своего завоевательного могущества и своей систематически реакционной инициативы.

Да, Берлин стал теперь видимою главою и столицею всей живой и действительной реакции в Ев-ропе, князь Бисмарк ее главным руководителем и первым министром. Я говорю, реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума выжившая реакция, по преимуществу рим-ско-католическая, бродит еще как зловещая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе; другая, кнуто-петербургская, положим, хоть и не тень, но тем не менее, лишенная смысла и будущности, продолжает еще бесчинствовать в пределах всероссийской империи. Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине и распространяется на все страны Европы из новой Германской империи, управляемой государственным, а по этому самому в высшей степени противународным гением князя Бисмарка.

Эта реакция не что иное, как окончательное осуществление противународной идеи новейшего государства, имеющего единою целью устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках: значит, торжество жидовского царства, банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентскою игрою мнимого конституционализма.

Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции для дальнейшего и полнейшего развития своего требуют тех огромных государственных централизации, которые только одни способны подчинить многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу-вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, волостей и, наконец, областей и народов это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы, столь же противна их существу, как несовместима с ними никакая экономическая автономия. Зато они уживаются отлично с так называемою *представительною демократией* ; так как эта новейшая государственная форма, основанная на мнимом *господстве мнимой* народной воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо народных собраниях, соединяет в себе два главные условия, необходимые для их преуспеяния, а именно: государственную централизацию и действительное подчинение государя-народа интеллектуальному управляющему им, будто бы представляющему его и непременно эксплуатирующему его меньшинству.

Когда мы будем говорить о социально-политической программе марксистов, лассальянцев и вообще немецких социальных демократов, мы будем иметь случай ближе рассмотреть и уяснить эту фактическую истину. Теперь обратим внимание на другую сторону вопроса. Всякая эксплуатация

народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства и мнимой народной свободы она позолочена ни была, горька для народа. Значит, никакой народ, как бы от природы смирен ни был и как бы послушание властям ни обратилось в привычку, охотно ей подчиняться не захочет; для этого необходимо постоянное принуждение, насилие, значит, необходимы полицейский надзор и военная сила.

Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство, а военное государство с тою же необходимостью становится государством завоевательным; если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение или действие ее. Из этого опять-таки следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством; это есть непременное условие сохранения его.

И точно так же, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно так же, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производствам, должны стремиться стать единственными, универсальными, всемирными; точно так же новейшее государство, по необходимости военное, носит в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным; но всемирное государство, разумеется, неосуществимое, могло бы быть во всяком случае только одно; два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны.

Гегемония есть только скромное, возможное обнаружение этого неосуществимого стремления, присущего всякому государству; а первое условие гегемонии это относительное бессилие и подчинение по крайней мере всех окружающих государств. Так, пока существовала гегемония Франции, она была обусловлена государственным бессилием Испании, Италии и Германии, и до сих пор не могут простить французские государственные люди и между ними г. Тьер, разумеется, первый Наполеону III-му, что он позволил Италии и Германии объединиться и сплотиться.

Теперь Франция очистила место, и его заняло германское государство, по нашему убеждению, ныне единственное настоящее государство в Европе.

Французскому народу несомненно предстоит еще великая роль в истории, но государственная карьера Франции покончена. Кто сколько-нибудь знает характер французов, тот скажет вместе с нами, что если Франция долго могла быть первенствующею державою, то для нее быть государством второ-степенным, даже только равносильным с другими решительно невозможно. Как государство и пока она будет управляема людьми государственными, все равно, г-ном ли Тьером, или г-ном Гамбеттою, или даже Орлеанскими герцогами, она с своим унижением не примирится; она будет готовиться к но-вой войне и будет стремиться к мести и к восстановлению утраченного первенства.

Может ли она достигнуть его? Решительно нет. На это много причин; упомянем две главные. Последние события доказали, что патриотизм, эта высшая государственная добродетель, эта душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального тщеславия; но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезано в корне буржуазною необходимостью и привычкою жертвовать *интересам реальным* всеми *идеальными интересами* , что во время последней войны оно не могло даже, как делало прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов лавочников, дельцов, биржевых спекуляторов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов, собственников и иезуитами воспитанных дворян. Все струсили, все изменили, все бросились только спасать свое имущество, все пользовались несчастием Франции, чтобы только интриговать против Франции; все старались нахальнейшим образом опередить друг друга в милости беспощадного и надменного победителя, ставшего распорядителем французских судеб; все, единодушно и во что бы то ни стало проповедовали покорение, смирение и молили о мире- Теперь все эти развратные болтуны опять занациональничали, захвастали, но этот смешной и отвратительный крик дешевых героев не в состоянии заглушить чересчур громкого свидетельства их вчерашней подлости.

Несравненно важнее этого то, что ни одной капли патриотизма не оказалось даже в сельском населении Франции. Да, в противность общему ожиданию французский мужик, с тех пор как стал собственником, перестал быть патриотом. Во время Жанны д'Арк он на плечах своих один вынес Францию. В 1792 году и потом он отстоял ее против военной коалиции всей Европы. Ну, тогда было другое дело: благодаря дешевой продаже церковных и дворянских имений он становился собственником земли, которую обрабатывал прежде как раб, и справедливо опасался, что в случае поражения дворянская эмиграция, шедшая вслед за немецким войском, отберет у него назад только что приобретенную

собственность; теперь же у него этого страха не было, и он совершенно равнодушно отнесся к постыдному поражению своего милого отечества. За исключением Эльзаса и Лотарингии, где странным образом, как бы на смех немцам, упорствующим видеть в них чисто немецкие провинции, проявились несомненные признаки патриотизма, во всей средней Франции крестьяне гнали французских и иностранных волонтеров, вооружившихся на спасение Франции, отказывая им во всем, нередко даже выдавая их пруссакам и, напротив, самым гостеприимным образом встречали немцев.

Можно сказать, с полною истиною, что патриотизм сохранился только в городском пролетариате.

В Париже, равно как и во всех других провинциях и городах Франции, только он один хотел и требовал всенародного вооружения и войны насмерть. И странное явление: за это именно на него обрушилась вся ненависть имущих классов, точно, как будто бы им стало обидно, что «младшие братья (выражение г. Гамбетты) выказывают более добродетели, патриотической преданности, чем старшие.

Впрочем, имущие классы были отчасти правы. То, что двигало пролетариат городской, не было чистым патриотизмом в древнем и тесном смысле этого слова. Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вместе с тем узкое, исключительное, противучеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, любя страстно свое отечество и все свое, также страстно ненавидит все иностранное, ни дать, ни взять, как наши славянофилы. Во французском же городском пролетариате не осталось даже и следа такой ненависти. Напротив, в последние десятилетия, можно сказать, с 1848 года и даже гораздо прежде, под влиянием социалистической пропаганды в нем развилось положительно братское отношение к пролетариям всех стран рядом со столь же решительным равнодушием к так называемому величию и к славе Франции. Французские работники были противниками войны, затеянной последним Наполеоном, и накануне этой войны они манифестом, подписанным парижскими членами Интернационала, громко заявили свое искреннее братское отношение к работникам Германии: и когда немецкие войска вступили во Францию, они стали вооружаться не против народа германского, а против германского военного деспотизма.

Война эта началась ровно шесть лет после первого основания Интернационального общества рабочих, только четыре года спустя после его первого конгресса в Женеве. И в такое короткое время интернациональная пропаганда успела возбудить не только в пролетариате французском, но также и между рабочими многих других стран, особливо латинского племени, мир представлений, воззрений и чувств совершенно новых и чрезвычайно широких, породила одну общую интернациональную страсть, поглотившую почти все предубеждения и узости страстей патриотических или местных.

Это новое миросозерцание высказалось торжественно уже в 1868 году на народном митинге и где бы вы думали, в какой стране? В Австрии, в Вене, в ответ на целый ряд политических и патриотических предложений, сделанных венским работникам сообща г-ми бюргерами-демократами южногерманскими и австрийскими и клонившихся к торжественному признанию и провозглашению пангерманского, единого и нераздельного отечества. К ужасу своему, они услышали следующий ответ: «Что вы толкуете нам о немецком отечестве? Мы работники, эксплуатируемые, вечно обманутые и утесненные вами, и все работники, к какой бы стране они ни принадлежали, эксплуатируемые и утесненные пролетарии целого мира нам братья; все же буржуа, притеснители, правители, опекуны, эксплуататоры нам враги. Интернациональный лагерь рабочих вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплуататоров вот чуждая и враждебная нам страна.

И в доказательство искренности своих слов венские рабочие тут же послали поздравительную телеграмму «к парижским братьям как пионерам всемирно-рабочего освобождения.

Такой ответ венских рабочих, вытекший, помимо всех политических рассуждений, прямо из глубины народного инстинкта, наделал в свое время много шума в Германии, перепугал всех бюргеров-демократов, не исключая почтенного ветерана и предводителя этой партии, доктора Иоганна Якоби, и оскорбил не только их патриотические чувства, но и государственную веру школы Лассаля и Маркса. Вероятно, по совету последнего г. Либкнехт, в настоящее время считающийся одним из глав социальных демократов Германии, но тогда бывший еще сам членом бюргерско-демократической партии (покойной народной партии), тотчас отправился из Лейпцига в Вену для переговоров с венскими работниками, «политическая бестактность которых дала повод к такому скандалу. Должно отдать ему справедливость, он действовал так успешно, что несколько месяцев спустя, а именно в августе 1868 года, на Нюренбергском конгрессе германских работников все представители

австрийского пролетариата без всякого протеста подписали узкую патриотическую программу социально-демократической партии.

Но это самое обнаружило только глубокое различие, существующее между политическим направлением предводителей, более или менее ученых и буржуазных, этой партии и собственным революционным инстинктом германского или по крайней мере австрийского пролетариата. Правда, в Германии и в Австрии этот народный инстинкт, подавляемый и беспрестанно отклоняемый от своей настоящей цели пропагандою партии более политической, чем революционно-социальной, с 1868 года мало развился вперед и не мог перейти в сознание народное; зато в странах латинского племени, в Бельгии, в Испании, в Италии и особенно во Франции, свободный от этого гнета и от этого систематического развращения, он развился широко, на полной свободе и обратился действительно в революционное сознание городового и фабричного пролетариата[1].

Как мы заметили выше, это сознание универсального характера социальной революции и солидарности пролетариата всех стран, так мало еще существующее между рабочими Англии, уже давно образовалось в среде французского пролетариата. Он знал уже в девяностых годах, что, борясь за свое равенство и за свою свободу, он освобождает все человечество.

Эти великие слова, употребляемые ныне нередко как фразы, но тогда искренно и глубоко прочувствованные, свобода, равенство и братство всего человеческого рода встречаются во всех революционных песнях того времени. Они легли в основание новой социальной веры и социально-революционной страсти французских работников, стали, так сказать, их природою и определили, даже помимо их сознания и воли, направление их мыслей, их стремлений и их предприятий. Всякий французский работник, когда делает революцию, вполне убежден, что делает ее не только для себя, но для целого мира, и несравненно больше для мира, чем для себя. Напрасно политические позитивисты и радикалы-республиканцы вроде г. Гамбетты старались и стараются отклонить французский пролетариат от этого космополитического направления и уверить его, что он должен подумать об устройстве своих собственных, исключительно национальных дел, связанных с патриотическою идеею величия, славы и политического преобладания французского государства, обеспечить в нем свою собственную свободу и свое собственное благосостояние, прежде чем мечтать об освобождении всего человечества, целого мира. Усилия их, по-видимому, весьма благоразумны, но тщетны природы не переделаешь, а эта мечта стала природою французского пролетариата, и она выгнала из его воображения и сердца последние остатки государственного патриотизма.

Происшествия 1870–71 годов доказали это вполне. Да, во всех городах Франции пролетариат требовал поголовного вооружения и ополчения против немцев; и нет сомнения, что он осуществил бы это намерение, если бы не парализовал его, с одной стороны, подлый страх и повсеместная измена большинства буржуазного класса, предпочитавшего тысячу раз покориться пруссакам, чем дать оружие в руки пролетариата; а с другой стороны, систематически реакционное противодействие «правительства народной защиты в Париже и в провинции, оппозиция, столь же противонародная, диктатора, патриота Гамбетты.

Но, вооружаясь, насколько при таких обстоятельствах это было возможно, против немецких завоевателей, французские работники были твердо убеждены, что будут бороться столько же за свободу и права немецкого пролетария, сколько и за свои собственные. Они заботились не о величии и чести французского государства, а о победе пролетариата над ненавистною военною силою, служащею против них в руках буржуазии орудием порабощения. Они ненавидели немецкие войска не потому, что они немецкие, а потому, что они войска. Войска, употребленные г. Тьером против Парижской Коммуны, были чисто французские; однако они совершили в несколько дней более злодеяний и преступлений, чем немецкие войска во все время войны. Для пролетариата отныне всякое войско, свое или чужое, равно враждебно, и французские работники это знают; поэтому их ополчение отнюдь не было ополчением патриотическим.

Восстание Парижской Коммуны против версальского *народного* собрания и против спасителя отечества Тьера, совершенное парижскими работниками в виду немецких войск, еще окружавших

---

[1] Нет сомнения, что усилия английских работников, стремящихся лишь только к собственному освобождению или к улучшению своей собственной участи, непременным образом обращаются в пользу всего человечества; но англичане этого не знают и не ищут; французы же, напротив, знают и ищут, что, по-нашему, составляет огромную разницу в пользу французов и дает действительно всемирный смысл и характер всем их революционным движениям.

Париж, обнаруживает и объясняет вполне ту единственную страсть, которая ныне двигает французский пролетариат, для которого отныне нет и не может быть другого дела, другой цели и другой войны, кроме революционно-социальных.

Это, с другой стороны, вполне объясняет неистовое исступление, овладевшее сердцами версальских правителей и представителей, а также и неслыханные злодеяния, совершенные под их прямым руководством и благословлением над побежденными коммунарами. И в самом деле, с точки зрения государственного патриотизма, парижские работники совершили ужасное преступление: в виду немецких войск, еще окружавших Париж и только что разгромивших отечество, разбивших в прах его национальное могущество и величие, поразивших в самое сердце национальную честь, они, обуреваемые дикою космополитическою социально-революционною страстью, провозгласили окончательное разрушение французского государства, расторжение государственного единства Франции, несовместного с автономиею французских коммун. Немцы только уменьшили границы и силу их политического отечества, а они захотели совсем убить его, и как бы для обнаружения этой изменнической цели свалили в прах Вандомскую колонну, величественную свидетельницу прошедшей французской славы!

С политически-патриотической точки зрения какое преступление могло сравниться с таким неслыханным святотатством! И вспомните, что парижский пролетариат совершил его не случайно, не под влиянием каких-нибудь демагогов и не в одну из тех минут безумного увлечения, которые нередко встречаются в истории каждого народа, и особенно французского. Нет, в этот раз парижские работники действовали спокойно, сознательно. Это фактическое отрицание государственного патриотизма было, разумеется, выражением сильной народной страсти, но страсти не мимолетной, а глубокой, можно сказать, обдуманной и уже обратившейся в народное сознание, страсти, раскрывшейся вдруг перед испуганным миром, как бездонная пропасть, готовая поглотить весь настоящий строй общества со всеми его учреждениями, удобствами, привилегиями и со всею цивилизациею-

Тут оказалось, с ясностью, столь же ужасною, сколько и несомненною, что отныне между диким, голодным пролетариатом, обуреваемым социально-революционными страстями и стремящимся неотступно к созданию иного мира на основании начал человеческой истины, справедливости, свободы, равенства и братства, начал, терпимых в порядочном обществе разве только как невинный предмет риторических упражнений, и между пресыщенным и образованным миром привилегированных классов, отстаивающих с отчаянною энергиею порядок государственный, юридический, метафизический, богословский и военно-полицейский, как последнюю крепость, охраняющую в настоящее время драгоценную привилегию экономической эксплуатации, что между этими двумя мирами, говорю я, между чернорабочим людом и образованным обществом, соединяющим в себе, как известно, всевоз-можные достоинства, красоты и добродетели, всякое примирение невозможно.

Война на жизнь и на смерть! И не в одной только Франции, а в целой Европе, и война эта может кончиться только решительною победою одной из сторон, решительным низложением другой. Или буржуазно-образованный мир должен укротить и поработить бунтующую народную стихию, дабы силою штыков, кнута или палки, благословенных, разумеется, каким-нибудь Богом и объясненных разумно наукою, заставить чернорабочие массы работать по-прежнему, что ведет прямо к полнейшему восстановлению государства в его искреннейшей форме, которая одна возможна в настоящее время, т. е. в форме военной диктатуры или императорства; или же рабочие массы сбросят с себя окончательно ненавистное многовековое иго, разрушат в корне буржуазную эксплуатацию и основанную на ней буржуазную цивилизацию а это значит торжество социальной революции, сокрушение всего, что называется государством.

Итак, государство, с одной стороны, социальная революция, с другой, вот два полюса, антагонизм которых составляет самую суть настоящей общественной жизни в целой Европе, но во Франции осязательнее, чем в какой-либо другой стране. Государственный мир, обнимающий всю буржуазию, включая, разумеется, и обмещанившееся дворянство, нашел свое средоточие, последнее убежище и последнюю защиту в Версале. Социальная революция, потерпевшая страшное поражение в Париже, но отнюдь не уничтоженная и даже не побежденная, обнимая теперь, как и всегда, весь городской и фабричный пролетариат, начинает уже захватывать своею неустанною пропагандою и сельское население, по крайней мере, в Южной Франции, где эта пропаганда ведется и распространяется в самых широких размерах. И вот это враждебное противоположение двух отныне непримиримых миров составляет вторую причину, по которой для Франции стало решительно невозможно сделаться вновь первостепенным, преобладающим государством.

Все привилегированные слои французского общества, без сомнения, желали бы поставить свое

отечество вновь в это блестящее и внушительное положение; но вместе с тем они до такой степени пропитаны страстью любостяжания, обогащения во что бы то ни стало и антипатриотическим эгоизмом, что для осуществления патриотической цели они готовы, правда, принести в жертву имущество, жизнь, свободу пролетариата, но не откажутся ни от одной из своих выгодных привилегий и скорее подвергнутся чужеземному игу, чем поступятся своею собственностью или согласятся на уравнение состояний и прав.

То, что делается теперь на наших глазах, вполне подтверждает это. Когда правительство г. Тьера официально объявило версальскому собранию о заключении окончательного договора с берлинским кабинетом, в силу чего немецкие войска должны будут очистить в сентябре еще занимаемые ими провинции Франции, большинство собрания, представляющее коалицию привилегированных классов во Франции, опустило головы; французские фонды, представляющие их интересы еще действительнее, живее, пали, как будто после государственной катастрофы- Оказалось, что *ненавистное, насильственное и позорное* для Франции присутствие победоносного немецкого воинства для привилегированных французских патриотов, представителей буржуазной доблести и буржуазной цивилизации, было утешением, опорой, спасением и что его предстоящее удаление однозначаще для них с осуждением на смерть.

Значит, странный патриотизм французской буржуазии ищет своего спасения в позорном покорении отечества. Тем же, кто еще может сомневаться в этом, укажем на любой консервативный французский журнал. Известно, до какой степени все оттенки реакционной партии, бонапартисты, легитимисты, орлеанисты, испуганы, взволнованы, взбешены избранием г. Бароде депутатом в Париже. Но кто такой этот Бароде? Один из многочисленных пошляков партии г. Гамбетты, консерватор по положению, по инстинкту и по направлению, только с демократическими и республиканскими фразами, отнюдь не мешающими, а напротив, чрезвычайно помогающими ныне исполнению самых реакционных мер, человек, одним словом, между которым и революцией нет и никогда не было ничего общего и который в 1870 и 1871 годах был одним из самых ревностных поборников буржуазного порядка в Лионе. Но он в настоящее время, как и много других буржуазных патриотов, находит для себя выгодным подвизаться под знаменем, отнюдь не революционным, г. Гамбетты. В этом смысле он был избран Парижем в пику президенту республики Тьеру и монархическому псевдонародному собранию, царствующему в Версале. И выбора этого ничтожного лица было достаточно, чтобы взбудоражить всю консервативную партию! И знаете ли, какой их главный аргумент? Немцы!

Раскройте любой журнал и вы увидите, как они грозят французскому пролетариату законным гневом князя Бисмарка и его императора, каков патриотизм! Да они просто зовут немцев на помощь против грозящей им французской социальной революции. В своем дурацком испуге они приняли даже невинного Бароде за революционного социалиста.

Такое настроение французской буржуазии подает мало надежды на восстановление государственного могущества и преобладания Франции посредством патриотизма привилегированных классов.

Патриотизм французского пролетариата также не представляет много надежды. Границы его отечества расширились до того, что обнимают ныне пролетариат целого мира в противоположность всей буржуазии, не исключая, разумеется, и французской. Заявления Парижской Коммуны в этом смысле решительны; а симпатии, высказываемые ныне так ясно французскими работниками к испанской революции, особенно в Южной Франции, где обнаруживается явное стремление пролетариата к братскому соединению с испанским пролетариатом и даже к образованию с ним народной федерации, основанной на освобожденном труде и на коллективной собственности, наперекор всем национальным различиям и государственным границам, эти симпатии и стремления, говорю я, доказывают, что собственно для французского пролетариата, так же как и для привилегированных классов, время государственного патриотизма прошло.

А при таком отсутствии патриотизма во всех слоях французского общества и при открытой ныне непримиримой войне, существующей между ними, как восстановить сильное государство? Тут все государственное уменье престарелого президента республики пропадет даром, и все ужасные жертвы, принесенные им на алтарь политического отечества, как напр., бесчеловечное избиение многих десятков тысяч парижских коммунаров с женщинами и детьми и столь же бесчеловечные высылки других десятков тысяч в Новую Каледонию, окажутся несомненно бесполезными жертвами.

Напрасно г. Тьер силится восстановить кредит, внутреннее спокойствие, старый порядок и военную силу Франции. Государственное здание, потрясенное и беспрестанно вновь потрясаемое в самой

основе антагонизмом пролетариата и буржуазии, трещит, лопается и каждую минуту грозит падением. Где же такому старому, неизлечимо больному государству бороться с юным и до сих пор еще здоровым государством германским.

Отныне, повторяю я, роль Франции как первостепенной державы окончена. Время ее политического могущества прошло так же безвозвратно, как прошло время ее литературного классицизма, монархического и республиканского. Все старые основы государства в ней сгнили, и напрасно силится Тьер построить на них свою консервативную республику, т. е. старое монархическое государство с подновленною мнимо республиканскою вывескою. Но также напрасно глава нынешней радикальной партии, г. Гамбетта, очевидный наследник г. Тьера, обещает построить новое государство, будто бы искренне республиканское и демократическое, на основаниях будто бы новых, потому что эти основания не существуют и существовать не могут.

В настоящее время серьезное, сильное государство может иметь только одно прочное основание военную и бюрократическую централизацию. Между монархиею и самою демократическою республикою существует только одно существенное различие: в первой чиновный мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных, имущих классов, а также и своих собственных карманов, во имя монарха; в республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которою его будут бить, будет называться палкою народной.

Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и смирить; но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие, этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная *политическая* республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного правительства, не в силах дать народу того, что ему надо, т. е. вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху, потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное г. Марксом, в сущности своей не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и по этому самому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ.

Итак, удовлетворение народной страсти и народных требований для классов имущих и управля-ющих решительно невозможно; поэтому остается одно средство *государственное насилие*, одним словом, *Ѣосударство*, потому что Государство именно и значит *насилие*, господство посредством насилия, замаскированного, если можно, а в крайнем случае бесцеремонного и откровенного. Но г. Гамбетта столько же представитель буржуазных интересов, как и сам г. Тьер; наравне с ним он хочет сильного государства и безусловного господства среднего класса с присоединением, быть может, обуржуазившегося слоя рабочих, составляющего во Франции весьма незначительную часть всего про-летариата. Вся разница между ним и г. Тьером состоит в том, что последний, одержимый предубеж-дениями и предрассудками своего времени, ищет опоры и спасенья только в чрезвычайно богатой бур-жуазии и с недоверием смотрит на десятки или даже сотни тысяч новых претендентов на управление из мелкой буржуазии и из вышеупомянутого класса рабочих, стремящихся к буржуазии; в то время как г. Гамбетта, отвергнутый высшими классами, до сих пор исключительно правившими Франциею, стремится основать свое политическое могущество, свою республикански-демократическую дикта-туру именно на том огромном и чисто буржуазном большинстве, которое до сих пор оставалось вне выгод и почестей государственного управления.

Он уверен, впрочем, и мы думаем, совершенно справедливо, что лишь только ему удастся с помощью этого большинства овладеть властью, сами богатые классы, банкиры, крупные землевладельцы, купцы и промышленники, одним словом, все значительные спекуляторы, обогащающиеся более других народным трудом, обратятся к нему, признают его, в свою очередь, и будут искать его союза и дружбы, в которых он им, разумеется, не откажет, потому что как настоящий государственный человек он слишком хорошо знает, что никакое государство, и особенно сильное, не может существовать без их союза и дружбы.

Это значит, что гамбеттовское государство будет столь же притеснительно и разорительно для

народа, как и все его более откровенные, но не более насильственные предшественники; и именно потому, что оно будет облечено в широкие демократические формы, оно сильнее и гораздо вернее будет гарантировать хищному и богатому меньшинству спокойную и широкую эксплуатацию народного труда.

Как государственный человек новейшей школы г. Гамбетта нисколько не боится самых широкодемократических форм, ни права поголовного избирательства. Он лучше всякого знает, как мало в них ручательств для народа и как много, напротив, для эксплуатирующих его лиц и классов; он знает, что никогда правительственный деспотизм не бывает так страшен и так силен, как когда опирается на мнимое представительство мнимой народной воли.

Итак, если бы французский пролетариат мог увлечься обещаниями честолюбивого адвоката, если бы г. Гамбетте удалось уложить этот беспокойный пролетариат на прокрустову кровать своей демократической республики, то, нет сомнения, он успел бы восстановить французское государство во всем его прежнем величии и преобладании.

Но в том-то и дело, что эта попытка удаться ему не может. Нет теперь на свете такой силы, нет такого политического или религиозного средства, которое могло бы задушить в пролетариате какой бы то ни было страны, а особенно во французском пролетариате, стремление к экономическому освобождению и к социальному равенству. Что ни делай Гамбетта, грози он штыками, ласкай он словами, ему не справиться с богатырскою силою, скрывающейся ныне в этом стремлении, и никогда не удастся ему запрячь по-прежнему массы чернорабочих в блестящую государственную колесницу. Никакими цветами красноречия не успеет он забросать и сравнять пропасть, отделяющую безвозвратно буржуазию от пролетариата, положить конец отчаянной борьбе между ними. Эта борьба потребует употребления всех государственных средств и сил, так что для удержания за собою внешнего преобладания между европейскими государствами у французского государства не останется ни средств, ни сил. Куда же ему тягаться с империею Бисмарка!

Что ни говори и как ни хвастай французские государственные патриоты, Франция как государство осуждена отныне занимать скромное, весьма второстепенное место; мало того, она должна будет подчиниться верховному руководству, дружески-почтительному влиянию Германской империи, точно так, как до 1870 года итальянское государство подчинялось политике Французской империи.

Положение, пожалуй, довольно выгодное для французских спекуляторов, обретающих значительное утешение на всемирном рынке, но отнюдь не завидное с точки зрения национального тщеславия, которым так преисполнены французские государственные патриоты. До 1870 можно было думать, что это тщеславие так сильно, что оно в состоянии бросить самых тесных и упорных поборников буржуазных привилегий в Социальную Революцию, лишь бы только избавить Францию от позора быть побежденною и покоренною немцами. Но уже после 1870 года этого никто ждать от них не будет; все знают, что они скорее согласятся на всякий позор, даже на подчинение немецкому покровительству, чем откажутся от своего прибыльного господства над своим собственным пролетариатом.

Не ясно ли, что французское государство никогда уже не восстановится в своем прежнем могуществе? Но значит ли это, что всемирная и, легко сказать, передовая роль Франции кончилась? Отнюдь нет; это значит только, что, потеряв безвозвратно свое величие как государство, Франция должна будет искать нового величия в Социальной Революции.

Но если не Франция, то какое другое государство в Европе может состязаться с новою Германскою империею?

Разумеется, не Великобритания. Во-первых, Англия никогда, собственно, не была государством в строгом и новейшем смысле этого слова, т. е. в смысле военной, полицейской и бюрократической централизации. Англия представляет скорее федерацию привилегированных интересов, автономное общество, в котором преобладала сначала поземельная аристократия, а теперь вместе с нею преобладает аристократия денежная, но в котором, точно так же, как во Франции, хотя и в несколько других формах, пролетариат ясно и грозно стремится к уравнению экономического состояния и политических прав.

Разумеется, влияние Англии на политические дела континентальной Европы было всегда велико, но оно основывалось всегда гораздо более на богатстве, чем на организации военной силы. В настоящее время, как всем известно, оно значительно уменьшилось. Еще тридцать лет тому назад оно не перенесло бы так спокойно ни завоевания рейнских провинций немцами, ни восстановления русского преобладания на Черном море, ни похода русских в Хиву. Такая систематическая уступчивость с

ее стороны доказывает несомненную и притом с каждым годом все более возрастающую политическую несостоятельность. Главная причина этой несостоятельности все тот же антагонизм чернорабочего мира с миром эксплуатирующей, политически господствующей буржуазии.

В Англии Социальная Революция гораздо ближе, чем думают, и нигде она не будет так ужасна, потому что нигде она не встретит такого отчаянного и так хорошо организованного сопротивления, как именно в ней.

Об Испании и Италии даже и говорить нечего. Никогда не сделаются они грозными, ни даже сильными государствами, не потому, чтобы у них не было материальных средств, а потому, что народный дух как той, так и другой влечет их неотвратимо к совершенно иной цели.

Испания, совращенная с своего нормального пути католическим изуверством и деспотизмом Карла V и Филиппа II и обогатившаяся вдруг не народным трудом, а американским серебром и золотом, в XVI и XVII веках попробовала вынести на своих плечах незавидную честь насильственного основания всемирной монархии. Она дорого поплатилась за это. Время ее могущества было именно началом ее умственного, нравственного и материального обнищания. После короткого и неестественного напряжения всех сил, сделавшего ее страшною и ненавистною для целой Европы и даже успевшего остановить на минуту, но только на одну минуту, прогрессивное движение европейского общества, она как будто вдруг надорвалась и впала в крайнюю степень отупения, расслабления и апатии, в которой и оставалась, окончательно опозоренная чудовищным и идиотским управлением Бурбонов, до тех пор пока Наполеон I своим хищническим вторжением в ее пределы не пробудил ее от двухвекового сна.

Оказалось, что Испания не умерла. Она спаслась от чужеземного ига чисто народным восстанием и доказала, что народные массы, невежественные и безоружные, в состоянии сопротивляться лучшим войскам в мире, если только они одушевлены сильною и единодушною страстью. Она доказала даже больше, а именно, что для сохранения свободы, силы и страсти народной невежество даже предпочтительнее буржуазной цивилизации.

Напрасно немцы кичатся и сравнивают свое национальное, но далеко не народное восстание 1812 и 1813 годов с испанским. Испанцы восстали беззащитные против огромного могущества до тех пор непобедимого завоевателя; немцы же восстали против Наполеона лишь после совершенного поражения, нанесенного ему в России. До тех пор не было примера, чтобы какая-нибудь немецкая деревня или какой немецкий город посмел оказать хотя самое ничтожное сопротивление победоносным французским войскам. Немцы так привыкли к повиновению, этой первой государственной добродетели, что воля победителей становилась для них священна, как скоро они фактически заменяли волю домашних властей. Сами прусские генералы, сдавая одну за другой крепости, самые крепкие позиции и столицы, повторяли достопамятные и обратившиеся в пословицу слова тогдашнего берлинского ко-менданта: «Спокойствие есть первая обязанность гражданина.

Только один Тироль составил тогда исключение. В Тироле Наполеон встретил действительно народное сопротивление. Но Тироль, как известно, составляет самую отсталую и необразованную часть Германии, и пример его не нашел подражателей ни в одной из других областей просвещенной Германии.

Народное восстание, по природе своей стихийное, хаотическое и беспощадное, предполагает всегда большую растрату и жертву собственности, своей и чужой. Народные массы на подобные жертвы всегда готовы; они потому и составляют грубую, дикую силу, способную к совершению подвигов и к осуществлению целей, по-видимому, невозможных, что, имея лишь очень мало или не имея вовсе собственности, они не развращены ею. Когда это нужно для обороны или для победы, они не остановятся перед истреблением своих собственных селений и городов, а так как собственность большею частью чужая, то в них обнаруживается нередко положительная страсть к разрушению. Этой отрицательной страсти далеко недостаточно, чтобы подняться на высоту революционного дела; но без нее последнее немыслимо, невозможно, потому что не может быть революции без широкого и страстного разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, потому что именно из него и только посредством него зарождаются и возникают новые миры.

Такое разрушение несовместно с буржуазным сознанием, с буржуазною цивилизациею, потому что она вся построена на фанатическом богопочитании собственности. Бюргер или буржуа отдадут скорее жизнь, свободу, честь, но не отступятся от своей собственности; самая мысль о посягательстве на нее, о разрушении ее для какой бы то ни было цели кажется им святотатством; вот почему они никогда не согласятся на уничтожение своих городов и домов, даже когда это потребует защита края;

и вот почему французские буржуа в 1870 году и немецкое бюргерство до самого 1813 года так легко поддавались счастливым завоевателям. Мы видели, что обладания собственностью было достаточно, чтобы развратить французское крестьянство и убить в нем последнюю искру патриотизма.

Итак, чтобы сказать последнее слово о так называемом национальном восстаний Германии против Наполеона, повторим, во-первых, что оно воспоследовало только тогда, когда его уничтоженные войска бежали из России и когда прусские и другие немецкие корпуса, незадолго перед тем составлявшие часть наполеоновской армии, перешли на сторону русских; и, во-вторых, что даже и тогда в Германии не было собственно народного поголовного восстания, что города и села оставались спокойны по-прежнему, а образовались только вольные отряды молодых людей, большею частью студентов, которые тотчас же были включены в состав регулярного войска, что совершенно противно методу и духу народных восстаний. Одним словом, в Германии юные граждане или, точнее, верноподданные, возбужденные горячею проповедью своих философов и воспламененные песнями своих поэтов, вооружились для защиты и для восстановления германского государства, потому что именно в это время и пробудилась в Германии мысль о государстве пангерманском. Между тем испанский народ встал поголовно, чтобы отстоять против дерзкого и могучего похитителя свободу родины и самостоятельность народной жизни.

С тех пор Испания не засыпала, но в продолжение 60 лет мучилась, отыскивая себе новые формы для новой жизни. Бедная, чего она не перепробовала! От абсолютной монархии, два раза восстановляемой, до конституции королевы Изабеллы, от Эспартеро до Нарваэса, от Нарваэса до Прима и от последнего до короля Амедея, Сагасты и Сорильи, она как бы хотела примерить всевозможные видоизменения конституционной монархии, и все оказались для нее тесными, разорительными, невозможными. Также невозможна оказывается теперь консервативная республика, т. е. господство спекуляторов, богатых собственников и банкиров под республиканскими формами. Такою же невозможностью окажется скоро и политическая мелкобуржуазная федерация, вроде швейцарской.

Испаниею овладел не на шутку черт революционного социализма. Андалузские и эстремадурские крестьяне, не спрашиваясь никого и не ожидая ничьих указаний, захватили уже и все далее захватывают земли прежних землевладельцев. Каталония и во главе ее Барселона громко заявляют свою независимость, свою автономию. Мадридский народ провозглашает федеральную республику и не соглашается подчинить революцию будущим указам учредительного собрания. В северных провинциях, находящихся будто бы во власти карлистской реакции, совершается явно Социальная Революция: провозглашаются фуэросы, независимость областей и общин, жгутся все судебные и гражданские акты; войско во всей Испании братается с народом и гонит своих офицеров. Началось всеобщее, публичное и частное, банкротство первое условие социально-экономической революции.

Одним словом, разгром и распадение окончательное, и все это валится само собою, разбитое или раздробленное своею собственною гнилостью. Нет более ни финансов, ни войска, ни суда, ни полиции; нет государственной силы, нет государства, остается могучий, свежий народ, одержимый ныне единою социально-революционною страстью. Под коллективным руководством Интернационала и Союза Социальных Революционеров он сплочивает и организует свою силу и готовится на развалинах распадающегося государства и буржуазного мира основать собственный мир освобожденного работника-человека.

Италия столь же близка к Социальной Революции, как и сама Испания. В ней также, несмотря на все старания конституционных монархистов и несмотря даже на геройские, но тщетные усилия двух великих вождей, Маццини и Гарибальди, не принялась, да и никогда не примется идея государственности, потому что противна настоящему духу и всем современным инстинктивным стремлениям и материальным требованиям бесчисленного деревенского и городского пролетариата.

Так же как Испания, Италия, утратившая уже очень давно и, главное, безвозвратно централистические, или единодержавные, предания древнего Рима, предания, сохранившиеся в книгах Данте, Ма-киавелли и в новейшей политической литературе, но отнюдь не в живой памяти народа, Италия, го-ворю я, сохранила только одну живую традицию абсолютной автономии даже не областей, а общины. К этому единственному политическому понятию, существующему собственно в народе, присоедините исторически-этнографическую разнородность областей, говорящих на диалектах столь различных, что люди одной области с трудом понимают, а иногда вовсе не понимают людей других областей. По-нятно, стало быть, как далека Италия от осуществления новейшего политического идеала государ-ственного единства. Но это отнюдь не значит, чтобы Италия была общественно разъединена. Напро-тив, несмотря на все различия, существующие в наречиях, обычаях и нравах, есть общий итальянский

характер и тип, по которым вы сейчас отличите итальянца от человека всякого другого племени, даже южного.

С другой стороны, действительная солидарность материальных интересов и удивительная тождественность нравственных и умственных стремлений самым тесным образом соединяют и сплочивают все итальянские области между собою. Но замечательно, что все эти интересы, равно как и эти стремления обращены именно против насильственного политического единства и, напротив, клонятся все к установлению единства общественного; так что можно сказать и доказать бесчисленными фактами из настоящей жизни Италии, что насильственно± политическое, или государственное, единство ее имело результатом общественное разъединение и что, вследствие того, разрушение новейшего итальянского государства будет иметь непременно результатом ее вольно-общественное соединение.

Все это относится, разумеется, собственно только к народным массам, потому что в высших слоях итальянской буржуазии, так же, как и в других странах, с единством государственным создалось и теперь развивается, и расширяется все более и более социальное единство класса привилегированных эксплуататоров народного труда.

Этот класс обозначается теперь в Италии общим именем консортерии. Консортерия обнимает весь официальный мир, бюрократический и военный, полицейский и судебный, весь мир больших собственников, промышленников, купцов и банкиров, всю официальную и официозную адвокатуру и литературу, а также весь парламент, правая сторона которого пользуется ныне всеми выгодами управления, а левая стремится захватить то же самое управление в свои руки.

Итак, в Италии, как и везде, существует единый и нераздельный политический мир хищников, сосущих страну во имя государства и доведших ее, для вящей пользы последнего, до крайней степени нищеты и отчаяния.

Но нищета самая ужасная, даже когда она поражает многомиллионный пролетариат, не есть еще достаточный залог для революции. Человек одарен от природы изумительным и, право, иногда доводящим до отчаяния терпением, и черт знает, чего он не переносит, когда вместе с нищетой, обрекающей его на неслыханные лишения и медленную голодную смерть, он еще награжден тупоумием, тупостью чувств, отсутствием всякого сознания своего права и тем невозмутимым терпением, и послушанием, которыми между всеми народами особенно отличаются восточные индейцы и немцы. Такой человек никогда не воспрянет; умрет, но не взбунтуется.

Но когда он доведен до отчаяния, возмущение его становится уже более возможным. Отчаяние острое, страстное чувство. Оно вызывает его из тупого, полусонного страдания и предполагает уже более или менее ясное сознание возможности лучшего положения, которого он только не надеется достигнуть.

В отчаянии, наконец, долго оставаться не может никто; оно быстро приводит человека или к смерти, или к делу. К какому делу? Разумеется, к делу освобождения и завоевания условий лучшего существования. Даже немец в отчаянии перестает быть резонером; только надо много, очень много всякого рода обид, притеснений, страданий и зла, чтобы довести его до отчаяния.

Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы возбудить Социальную Революцию. Они способны произвести личные или, много, местные бунты, но недостаточны, чтобы поднять целые народные массы. Для этого необходим еще общенародный идеал, вырабатывающийся всегда исторически из глубины народного инстинкта, воспитанного, расширенного и освещенного рядом знаменательных происшествий, тяжелых и горьких опытов, нужно общее представление о своем праве и глубокая, страстная, можно сказать, религиозная вера в это право. Когда такой идеал и такая вера в народе встречаются вместе с нищетою, доводящею его до отчаяния, тогда Социальная Революция неотвратима, близка, и никакая сила не может ей воспрепятствовать.

Именно в таком положении находится итальянский народ. Нищета и претерпеваемые им всякого рода страдания ужасны и мало уступают нищете и страданиям, удручающим русский народ. Но в то же самое время в итальянском пролетариате гораздо в большей степени, чем в нашем, развилось страстное революционное сознание, определяющееся в нем с каждым днем все яснее и сильнее. От природы умный и страстный, итальянский пролетариат начинает, наконец, понимать, чего ему надо и чего он должен хотеть для всецелого и всеобщего освобождения. В этом отношении пропаганда Интернационала, которая повелась энергично и широко только в последние два года, оказала ему громадную услугу. Она именно дала ему, или, вернее, она возбудила в нем этот идеал, крупно начертанный глубочайшим инстинктом его, без которого, как мы сказали, народное восстание, ка-

ковы бы ни были страдания народа, решительно невозможно; она указала ему цель, которую он должен осуществить, и вместе с тем открыла ему пути и средства для организации народной силы.

Этот идеал представляет, разумеется, народу на первом плане конец нужды, конец нищеты и полное удовлетворение всех материальных потребностей посредством коллективного труда, для всех обязательного и для всех равного; потом конец господам и всякому господству и вольное устройство народной жизни сообразно народным потребностям, не сверху вниз, как в государстве, но снизу вверх, самим народом, помимо всех правительств и парламентов, вольный союз земледельческих и фабричных рабочих товариществ, общин, областей и народов; и наконец, в более отдаленном будущем общечеловеческое братство, торжествующее на развалинах всех государств.

Замечательно, что в Италии, равно как и в Испании, решительно не посчастливилось государственно-коммунистической программе Маркса, а напротив, приняли широко и страстно программу пресловутого Альянса, или Союза Социальных Революционеров, объявившую беспощадную войну всякому господству, правительственной опеке, начальству и авторитету.

При этих условиях народ может освободиться, построить свою собственную жизнь на самой широкой воле всех и каждого, но отнюдь уже не может грозить свободе других народов; поэтому ни со стороны Испании, ни со стороны Италии завоевательной политики ждать нельзя, а, напротив, должно ожидать близкой Социальной Революции.

Маленькие государства, каковы Швейцария, Бельгия, Голландия, Дания и Швеция, также, именно по тем же причинам, но главным образом вследствие своей политической незначительности, никому не грозят, а, напротив, имеют много причин опасаться завоеваний со стороны новой Германской империи.

Остаются Австрия, Россия и прусская Германия. Упоминать об Австрии не значит ли говорить о неизлечимом больном, быстрыми шагами приближающемся к смерти? Эта империя, созданная путем династических связей и военного насилия, состоящая к тому же из четырех противуположных и друг друга мало любящих рас под преобладанием расы немецкой, единодушно ненавидимой тремя другими и числом своим едва равняющейся четвертой части всего населения, наполовину же составленная из славян, требующих автономии и в последнее время распавшихся на два государства, мадьяро-славянское и германо-славянское, такая империя, говорим мы, могла держаться, пока преобладал в ней военно-полицейский деспотизм. В продолжение последних двадцати пяти лет она претерпела три смертельных удара. Первое поражение было ей нанесено революцией 1848 года, положившей конец старой системе и управлению князя Меттерниха. С тех пор она поддерживает дряхлое существование свое героическими средствами и самыми разнообразными конфортативами. В 1849 году, спасенная императором Николаем, она под управлением надменного олигарха, князя Шварценберга, и славянофильствующего иезуита, графа Туна, редактора конкордата, бросилась искать спасения в самой отчаянной клерикальной и политической реакции и в водворении полнейшей и беспощаднейшей централизации во всех провинциях своих наперекор всем национальным различиям. Но второе поражение, нанесенное ей Наполеоном III в 1859 г., доказало, что военно-бюрократическая централизация ее спасти не может.

С тех пор она ударилась в либерализм. Вызвала из Саксонии неумелого и несчастного соперника князя (а тогда еще графа) Бисмарка, барона Бейста и стала отчаянно освобождать свои народы, но, освобождая их, хотела вместе с тем спасти и свое государственное единство, т. е. решить задачу просто неразрешимую.

Надо было в одно и то же время удовлетворить четыре главные племени, населяющие империю, славян, немцев, мадьяр и валахов[1], которые не только чрезвычайно различны по своей природе, по своим языкам, равно как и по различным характерам и степеням культуры, но даже относятся друг к другу большею частью враждебно и поэтому могли и могут быть удержаны в государственной связи только посредством правительственного насилия.

Надо было удовлетворить немцев, большинство которых, стремясь к завоеванию самой либерально-демократической конституции, вместе с тем требуют настоятельно и громко, чтобы за ними было оставлено *древнее право* на государственное преобладание в австрийской монархии, несмотря на то, что они вместе с евреями составляют только четвертую часть всего ее населения.

---

[1] На 36 миллионов жителей племена эти распределяются так: около 16500000 *славян* (5 миллион, поляков и русинов; 7250000 других северных славян: чехов, моравов, словаков; и 4250000 южных славян), около 5500000 мадьяр. 2900000 румын, 600000 итальянцев, 9000000 немцев и евреев и около 1500000 других племен.

Не есть ли это новое доказательство той истины, которую мы неутомимо отстаиваем в убеждении, что от всеобщего уразумения ее зависит скорейшее разрешение всех социальных задач; а именно, что государство, всякое государство, будь оно облечено в самые либеральные и демократические формы, непременно основано на преобладании, на господстве, на насилии, т. е. на деспотизме, скрытом, если хотите, но тем более опасном.

Немцы, государственники и бюрократы, можно сказать, от природы, опирают свои претензии на своем историческом праве, т. е. на праве завоевания и давности, с одной стороны, а с другой, на мнимом превосходстве своей культуры. В конце этого предисловия мы будем иметь случай показать, как далеко простираются их претензии. Теперь ограничимся австрийскими немцами, хотя очень трудно отделить их претензии от общегерманских.

Австрийские немцы в последние годы скрепя сердце поняли, что им надо отказаться, по крайней мере на первое время, от преобладания над мадьярами, за которыми они признали, наконец, право на самостоятельное существование. Из всех племен, населяющих Австрийскую империю, мадьяры после немцев самый государственный народ: несмотря на жесточайшие гонения и на самые крутые меры, которыми в продолжение девяти лет, от 1850 до 1859, австрийское правительство силилось сломать их упорство, они не только не отказались от своей национальной самостоятельности, но отстаивали и отстояли свое право, по их мнению, равно же историческое, на государственное преобладание над всеми другими племенами, населяющими вместе с ними Венгерское королевство, несмотря на то, что сами составляют не много более третьей части всего королевства[1].

Таким образом несчастная Австрийская империя распалась на два государства почти одинаковой силы и соединенные только под одною короною на государство цислейтанское, или славяно-немец-кое, с 20500000 жителей (из которых 7200000 немцев и евреев, 11500000 славян и около 1800 000 ита-льянцев и других племен) и на государство транслейтанское, венгерское или мадьяро-славяно-ру-мыно-немецкое.

Замечательно то, что ни одно из этих двух государств даже в своем внутреннем составе не представляет никаких залогов ни настоящей, ни даже будущей силы.

В Венгерском королевстве, несмотря на либеральную конституцию и на несомненную ловкость мадьярских правителей, борьба рас, эта коренная болезнь австрийской монархии, нисколько не утихла. Большинство населения, подчиненное мадьярам, не любит их и никогда не согласится добровольно нести их иго, вследствие чего между ним и мадьярами происходит беспрерывная борьба, причем славяне опираются на турецких славян, а румыны на братское население в Валахии, Молдавии, Бессарабии и Буковине; мадьяры, составляющие только одну треть населения, поневоле должны искать опоры и покровительства в Вене; а императорская Вена, которая не может переварить мадьярского отторжения, питает, равно как и все одряхлевшие и падшие династические правительства, тайную надежду на чудесное восстановление утраченного могущества, чрезвычайно рада этим внутренним раздорам, не позволяющим Венгерскому королевству установиться, и втайне разжигает славянские и румынские страсти против мадьяр. Мадьярские правители и политические люди это знают и в отплату, с своей стороны, поддерживают тайное сношение с князем Бисмарком, который, предвидя неизбежную войну против Австрийской империи, обреченной на гибель, заигрывает с мадьярами.

Цислейтанское, или германо-славянское, государство находится в положении ничуть не лучшем. Тут немного больше семи миллионов немцев, включая евреев, заявляют претензию управлять одиннадцатью с половиною миллионами славян.

Претензия эта, разумеется, странная. Можно сказать, что с самых древних времен исторической задачей немцев было завоевывать славянские земли, истреблять, покорять и цивилизовать, т. е. немечить или мещанить славян. Отсюда возникла между обоими племенами глубокая историческая и взаимная ненависть, обусловленная с обеих сторон специальным положением каждой.

Славяне ненавидят немцев, как ненавидят всех победителей народы завоеванные, но не примирившиеся и в душе своей не покорившиеся. Немцы ненавидят славян, как господа ненавидят обыкновенно своих рабов; ненавидят их за ненависть, которую они, немцы, заслужили со стороны славян; ненавидят их за ту невольную и беспрестанную боязнь, которую возбуждают в них неугасимая мысль и надежда славян на освобождение.

---

[1] В Венгерском королевстве считается 5500000 мадьяр, 5000000 славян, 2700000 румын, 1800000 евреев и немцев и около 500000 других племен, всего 15500000 жителей.

Как все завоеватели чужой земли и покорители чужого народа, немцы в одно и то же время совершенно несправедливо и ненавидят, и презирают славян. Мы сказали, за что они их ненавидят, презирают же они их за то, что славяне не умели и не хотели онемечиваться. Замечательно, что прусские немцы самым серьезным образом и горько упрекают австрийских немцев и обвиняют австрийское правительство чуть ли не в измене за то, что они не умели онемечить славян. Это, по их убеждению, да и в самом деле, составляет величайшее преступление против общенемецких патриотических интересов, против *пангерманизма*.

Угрожаемые, или, вернее, уже теперь отовсюду гонимые, не совсем раздавленные этим ненавистным для них пангерманизмом, австрийские славяне, за исключением поляков, противупоставили ему другую отвратительнейшую нелепость, другой не менее свободопротивный и народоубийственный идеал панславизм[1].

Мы не утверждаем, чтобы все австрийские славяне, даже помимо поляков, поклонялись этому столь же уродливому, сколько и опасному идеалу, к которому, заметим мимоходом, между турецкими славянами, несмотря на все происки русских агентов, беспрестанно шляющихся между ними, проявляется чрезвычайно мало симпатии. Но тем не менее верно, что чаяние избавления и избавителя от Петербурга довольно сильно распространено между австрийскими славянами. Страшная и, прибавим, совершенно законная ненависть довела их до такой степени безумия, что, позабыв или не зная всех бедствий, претерпеваемых Литвою, Польшею, Малороссией), да и самим великорусским народом под деспотизмом московским и петербургским, они стали ждать спасения от нашего всероссийски-царского кнута!

Что такие нелепые ожидания могли развиться в славянских массах, удивляться не следует. Они не знают истории, не знают также и внутреннего состояния России, они слышали только, что на смех и наперекор немцам образовалась огромная, будто бы чисто славянская империя, до такой степени могущественная, что перед нею дрожат ненавистные немцы. Немцы дрожат, следовательно, славянам надо радоваться; немцы ненавидят, значит, славяне должны любить.

Все это очень естественно. Но странно, грустно и непростительно, что среди образованного класса в австрийско-славянских землях создалась целая партия, во главе которой стоят люди опытные, умные, сведущие и открыто проповедуют панславизм или, по крайней мере, в смысле иных, освобож-дение славянских племен посредством могучего вмешательства русской империи, а в смысле других даже создание великого царства славянского под державою русского царя.

Замечательно, до какой степени эта проклятая немецкая цивилизация, по существу своему буржуазная и потому государственная, успела проникнуть в души даже патриотов славянских. Они родились в онемечившемся буржуазном обществе, учились в немецких школах и университетах, привыкли думать, чувствовать, хотеть по-немецки и стали бы совершенными немцами, если бы цель, которую они преследуют, не была антинемецкая: немецкими путями и средствами они хотят, думают освободить славян из-под немецкого ига. Не понимая, по своему немецкому воспитанию, другого способа освобождения, как посредством образования славянских государств или единого могущественного славянского государства, они задаются и целью совершенно немецкою, потому что новейшее государство, централистическое, бюрократическое и полицейско-военное, вроде, например, новой Германской или всероссийской империи, есть создание чисто немецкое; в России оно было прежде с примесью татарского элемента, но за татарскою любезностью, право, и в Германии теперь дела не станет.

По всей природе и по всему существу своему славяне решительно племя не политическое, т. е. не государственное. Напрасно чехи поминают свое великое царство Моравское, а сербы царство Душана. Все это или эфемерные явления, или древние басни. Верно то, что ни одно славянское племя

---

[1] Мы столько же отъявленные враги панславизма, сколько и пангерманизма, и намереваемся в одной из будущих книжек посвятить этому вопросу, по-нашему, чрезвычайно важному, особую статью; теперь же скажем только, что считаем священною и неотлагаемою обязанностью для русской революционной молодежи противодействовать всеми силами и всевозможными средствами панславистической пропаганде, производимой в России и главным образом в славянских землях правительственными официальными и вольнославянофильствующими или официальными русскими агентами; они стараются уверить несчастных славян, что петербургский славянский царь, проникнутый горячею отеческою любовью к славянским братьям, и подлая народоненавистная и народогубительная всероссийская империя, задушившая Малороссию и Польшу, а последнюю даже продала частью немцам, могут и хотят освободить славянские страны от немецкого ига, и это в то самое время, когда петербургский кабинет явным образом продает и предает всю Богемию с Моравиею князю Бисмарку в вознаграждение за обещанную помощь на Востоке.

само собой не создало государства.

Польская монархия-республика создалась под двойным влиянием германизма и латинизма после совершенного поражения, нанесенного крестьянскому народу (хлопам), и после рабского покорения его под иго шляхты, которая, по свидетельству и по мнению многих польских историков и писателей (между прочим Мицкевича), не была даже славянского происхождения.

Богемское, или чешское, королевство было слеплено чисто по образу и подобию немецкому, под прямым влиянием немцев, вследствие чего Богемия так рано стала органическим членом, неотрывною частью Германской империи.

Ну, а историю образования всероссийской империи все знают; тут участвовали и татарский кнут, и византийское благословение, и немецкое чиновно-военное и полицейское просвещение. Бедный великорусский народ, а потом и другие народы, малороссийский, литовский и польский, присоединенные к ней, участвовали в ее создании только своею спиною.

Итак, несомненно, что славяне никогда сами собой, своею собственною инициативой государства не слагали. А не слагали они его потому, что никогда не были завоевательным племенем. Только народы завоевательные создают государство и создают его непременно себе в пользу, в ущерб покоренным народам.

Славяне были по преимуществу племенем мирным и земледельческим. Чуждые воинственного духа, которым одушевлялись германские племена, они были по этому самому чужды тем государственным стремлениям, которые с ранних пор проявились в германцах. Живя отдельно и независимо в своих общинах, управляемых по патриархальному обычаю стариками, впрочем, на основании выборного начала и пользуясь все одинаково общинною землею, они не имели и не знали дворянства, не имели даже с собой касты жрецов, были все равны между собою, осуществляя, правда, еще только в патриархальном и, следовательно, в самом несовершенном виде идею человеческого братства. Не было постоянной политической связи между общинами. Но когда угрожала общая опасность, например, нападение чужеземного племени, они временно заключали оборонительный союз, и лишь только опасность миновала, эта тень политического соединения исчезала. Значит, не было и не могло быть славянского государства. Но существовала, зато связь общественная, братская между всеми славянскими племенами, в высшей степени гостеприимными.

Естественно, что при такой организации славяне должны были оказаться беззащитными против нападений и захватов воинственных племен, особенно германцев, стремившихся распространить повсюду свое господство- Славяне были отчасти истреблены, большею же частью покорены турками, татарами, мадьярами, а главным образом немцами.

Со второй половины X века начинается мученическая история их рабства, но не только мученическая, а также и героическая. В многовековой, беспрерывной и упорной борьбе против завоевателей они пролили много крови за свою земскую волю. Уже в XI веке мы встречаем два факта: всеобщее восстание славянских язычников, обитавших между Одером, Эльбою и Балтийским морем, против немецких рыцарей и попов и столь же знаменательное возмущение великопольских хлопов против шляхетского господства. Затем до XV века продолжалась борьба мелкая, незаметная, но беспрерывная западных славян против немцев, южных против турок, северо-восточных против татар.

В XV веке мы встречаем великую и на этот раз победоносную, а также чисто народную революцию чешских гуситов. Оставляя в стороне их религиозный принцип, который, однако, заметим мимоходом, был несравненно ближе к началу человеческого братства и народной свободы, чем принцип католический и последовавший за ним протестантский принцип, мы обратим внимание на чисто социальный и противогосударственный характер этой революции. Это был бунт славянской общины против немецкого государства.

В XVII веке, вследствие целого ряда измен пражского полуонемеченного мещанства, гуситы претерпели окончательное поражение. Почти половина чешского народонаселения была истреблена, и земли отданы колонистам из Германии. Немцы и вместе с ними и иезуиты восторжествовали, и в продолжение двух веков с лишком после этого кровавого поражения западнославянский мир оставался неподвижен, нем под гнетом католической церкви и восторжествовавшего германизма. В то же самое время южные славяне влачили рабскую долю под преобладанием мадьярского племени или под игом турецким. Но зато славянский бунт во имя тех же народно-общинных начал воспрянул на северо-востоке.

Не говоря уже об отчаянной борьбе Великого Новгорода, Пскова и других областей против ца-

рей московских в XVI веке, ни о союзном ополчении великорусского земства против польского короля, иезуитов, московских бояр и вообще против преобладания Москвы в начале XVII века, вспомним знаменитое восстание малороссийского и литовского населения против польской шляхты, а вслед за ним еще более решительное восстание приволжского крестьянства под предводительством Степана Разина; наконец, сто лет спустя, не менее знаменательный бунт Пугачева. И во всех этих чисто народных движениях, восстаниях и бунтах мы находим ту же ненависть к государству, то же стремление к созданию вольно± общинного крестьянского мира.

Наконец, XIX век может быть назван веком общего пробуждения для славянского племени. О Польше и говорить нечего. Она никогда не засыпала, потому что со времени разбойнического похищения ее свободы, правда, не народной, а шляхетской и государственной, со времени ее разделения между тремя хищническими державами она не переставала бороться, и, что ни делай Муравьевы и Бисмарк, она будет бунтовать, пока не добунтуется до свободы. К несчастью для Польши, руководящие партии ее, до сих еще преимущественно шляхетские, не умели отказаться от своей государственной программы и вместо того чтобы искать освобождения и обновления своей родины в социальной революции, повинуясь древним преданиям, ищут их то в покровительстве какого-нибудь Наполеона, то в союзе с иезуитами и австрийскими феодалами.

Но в нашем веке пробудились также и западные, и южные славяне. Наперекор всем немецким политическим, полицейским и цивилизаторским усилиям, Богемия после трехвекового сна воспрянула вновь как страна чисто славянская и стала естественным средоточием для всего западнославянского движения. Тем же самым стала турецкая Сербия для движения южно± славянского.

Но вместе с возрождением славянских племен возбуждается вопрос чрезвычайно важный и, можно сказать, роковой.

Каким образом должно совершиться это славянское возрождение? Древним ли путем государственного преобладания или путем действительного освобождения всех народов, по крайней мере европейских, освобождения всего европейского пролетариата от всякого ига, и прежде всего от ига государственного?

Должны ли и могут ли славяне избавиться от чужеземного, главным образом от немецкого ига, наиболее для них ненавистного, прибегая, в свою очередь, к немецкому методу завоевания, захвата и принуждения завоеванных народных масс к ненавистному им, прежде немецкому, теперь же славянскому верноподданичеству, или только путем солидарного восстания всего европейского пролетариата, посредством Социальной Революции?

Все будущее славян зависит от того, какой из этих двух путей они выберут. На который же из них они должны решиться?

По нашему убеждению, поставить этот вопрос значит разрешить его. Вопреки премудрому изречению царя Соломона, старое никогда не повторяется. Новейшее государство, только вполне осуществившее древнюю идею господства, точно так же, как христианство осуществляет последнюю форму богословского верования или религиозного рабства; государство бюрократическое, военно-полицейское и централистическое, стремящееся по самой необходимости своего внутреннего существа захватывать, покорять, душить все, что вокруг него существует, живет, движется, дышит; это государство, нашедшее последнее выражение свое в пангерманской империи, отживает ныне свой век. Его дни сочтены, и от падения его все народы ждут своего окончательного избавления.

Неужели славянам суждено повторить человеконенавистный, народоненавистный, уже теперь осужденный историею ответ? И для чего же? Чести нет никакой; напротив преступление, бесславие, проклятие современников и потомков. Или славянам стало завидно, что немцы заслужили ненависть всех остальных народов Европы? Или им нравится роль всемирного Бога? Черт побери всех славян, со всею их военною будущностью, если после многолетнего рабства, мучения, молчания они должны принести человечеству новые цепи!

А польза для славян какая? Какая может быть польза для славянских народных масс от образования великого славянского государства? В таких государствах есть выгода несомненная, но только не для многомиллионного пролетариата, а для привилегированного меньшинства, поповского, дворянского, буржуазного или, пожалуй, хотя интеллектуального, т. е. такого, которое, во имя своей патентованной учености и своего мнимо умственного превосходства, считает себя призванным заправлять массами; выгода есть для нескольких тысяч притеснителей, палачей и эксплуататоров пролетариата. Для самого пролетариата, для чернорабочих масс чем обширнее государство, тем тяжелее цепи и тем теснее тюрьма.

Мы сказали и доказали выше, что общество не может быть и оставаться государством, если не сделается завоевательным государством. Та самая конкуренция, которая на экономическом поле уничтожает и поглощает небольшие и даже средние капиталы, фабричные заведения, поземельные владения и торговые дома в пользу огромных капиталов, фабрик, имуществ и торговых домов, уничтожает и поглощает маленькие и средние государства в пользу империй. Отныне всякое государство, если оно хочет существовать не на бумаге только и не по милости его соседей, пока им угодно терпеть его существование, но действительно, самостоятельно, независимо, должно непременно быть завоевательным.

Но быть завоевательным государством значит быть вынужденным держать в насильном подчинении много миллионов чужого народа. Для этого необходимо развитие громадной военной силы. А где торжествует военная сила, прощай, свобода! Особенно прощай, воля и благоденствие рабочего народа. Из этого следует, что образование великого славянского государства есть не что иное, как образование громадного славяно-народного рабства.

«Но, ответят нам славянские государственники, мы не хотим одного великого славянского государства, мы желаем только образования нескольких чисто славянских государств средней величины как необходимого залога для независимости славянских народов. Но это мнение противно логике и историческим фактам, силе вещей; никакое государство средней величины существовать самостоятельно теперь не может. Значит, или славянских государств не будет, или будет одно громадное и всепоглощающее государство панславистское, кнутовое, С.± Петербургское.

Да и может ли славянское государство бороться против громадного могущества новой пангерманской империи, если оно само не будет столь же громадно и столь же могущественно? Рассчитывать на дружное действие многих отдельных государств, связанных одними интересами, никогда не следует; во-первых, потому что соединение разнородных организаций и сил, хотя бы равнялось или даже превышало по числу сил противников, все-таки слабее последних, потому что последние однородны и организация их, повинующаяся одной мысли, одной воле, крепче и проще; во-вторых, потому что никогда не следует рассчитывать на дружное содействие многих держав, даже и тогда, когда их собственные интересы требуют такого союза. Правители государств, точно так же как и простые смертные, большею частью поражены слепотою, мешающею им видеть за интересом и за страстями минуты существенные требования их собственного положения.

В 1863 прямым интересом Франции, Англии, Швеции и даже Австрии было вступиться за Польшу против России, однако никто не вступился. В 1864 интерес еще более прямой предписывал Англии, Франции, особенно Швеции и даже России вступиться за Данию, угрожаемую прусско-австрийским, в сущности же, прусско-германским завоеванием, и опять никто не вступился. Наконец, в 1870 Англия, Россия и Австрия, не говоря о маленьких северных государствах, должны были в своем очевидном интересе остановить торжественное вторжение прусско-германских войск во Францию до самого Парижа и чуть не до самого юга; но и на этот раз никто не вмешался, а только когда создалось новое, всем грозящее германское могущество, державы поняли, что должны были вмешаться, но было уже поздно.

Значит, на правительственный ум соседних держав рассчитывать не должно, надо рассчитывать на свои собственные силы, и эти силы должны, по крайней мере, равняться силам противника. Стало быть, ни одно славянское государство, взятое отдельно, не будет в состоянии противиться напору пангерманской империи.

Но нельзя ли будет противопоставить пангерманской централизации панславянскую федерацию, т. е. союз самостоятельных славянских государств или штатов, вроде Северо±Американского или Швейцарского? И на этот вопрос мы должны отвечать отрицательно.

Во-первых, чтобы какой-нибудь союз мог состояться, необходимо, чтобы всероссийская империя рушилась, чтобы она распалась на много отдельных и друг от друга независимых и только федеративно друг с другом связанных государств, потому что соблюдение независимости и свободы небольших или даже средних славянских государств в таком федеративном союзе с такою громадною империею просто немыслимо.

Положим даже, что петербургская империя распадется на большее или меньшее число вольных штатов и что организованные, с своей стороны, как самостоятельные государства Польша, Богемия, Сербия, Болгария и т. д. образовали вместе с этими новыми русскими штатами великую славянскую федерацию. И в таком случае, утверждаем мы, эта федерация не будет в состоянии бороться против пангерманской централизации по той простой причине, что военно-государственная сила будет всегда

на стороне централизации.

Федерация штатов может до некоторой степени гарантировать буржуазную свободу, но государственно-военной силы создать не может потому именно, что она федерация; государственная сила требует непременно централизации. Нам укажут на пример Швейцарии и Соединенных Штатов Америки. Но Швейцария именно ради увеличения своих военных и государственных сил стремится теперь явным образом к централизации, а федерация остается поныне возможною в Северной Америке потому только, что на американском континенте в соседстве с великою республикою нет ни одного могучего централизованного государства вроде России, Германии или Франции.

Итак, чтобы противодействовать на государственном или политическом поприще торжествующему пангерманизму, остается одно только средство создать панславянское государство. Средство во всех других: отношениях чрезвычайно невыгодное для славян, потому что оно непременно повлечет за собою общее славянское рабство под всероссийским кнутом. Но верно ли оно, по крайней мере, в отношении к своей цели, т. е. низложению германского могущества и покорению немцев панславянскому, т. е. петербурго± императорскому игу?

Нет, не только не верно, но даже, наверное, недостаточно. Правда, немцев в Европе всего 50 миллионов с половиною (включая, разумеется, 9 миллионов австрийских немцев). Но положим, что мечта немецких патриотов сбылась окончательно и что в состав Германской империи вошли бы вся фламандская часть Бельгии, Голландия, немецкая Швейцария, вся Дания и даже Швеция с Норвегией, что вместе составляет народонаселение немного более 15 миллионов. Ну что же? и тогда немцев будет в Европе много-много 66 миллионов, а славян считается около 90 миллионов. Значит, в количественном отношении славяне сильнее немцев, и несмотря на то, что в количественном отношении славянское население Европы превосходит почти на треть германское, мы все-таки утверждаем, что никогда панславянское государство не сравняется могуществом и настоящею государственно-военною силою с империей пангерманской. Почему? Потому что в немецкой крови, в немецком инстинкте, в немецкой традиции есть страсть государственного порядка и государственной дисциплины, в славянах же не только нет этой страсти, но действуют и живут страсти совершенно противные; поэтому, чтобы дисциплинировать их, надо держать их под палкою, в то время как всякий немец с убеждением свободно съел палку. Его свобода состоит именно в том, что он вымуштрован и охотно преклоняется перед всяким начальством.

Притом немцы народ серьезный и работящий, они учены, бережливы, нарядливы, отчетливы и расчетливы, что не мешает им, когда надо, а именно, когда того хочет начальство, отлично драться. Они доказали это в последних войнах. К тому же их военная и административная организация доведена до наивозможнейшей степени совершенства, степени, которой никакой другой народ никогда не достигнет. Так вообразимо ли, чтоб славяне могли состязаться с ними на поле государственности!

Немцы ищут жизни и свободы в государстве; для славян же государство есть гроб. Славяне должны искать своего освобождения вне государства, не только в борьбе против немецкого государства, но во всенародном бунте против всякого государства, в Социальной Революции.

Славяне могут освободить себя, могут разрушить ненавистное им немецкое государство не тщетными стремлениями подчинить, в свою очередь, немцев своему преобладанию, сделать их рабами своего славянского государства, а только призывом их к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств. Но государства сами не валятся; их может только повалить всенародная и всеплеменная, интернациональная Социальная Революция.

Организировать народные силы для совершения такой революции вот единственная задача людей, искренно желающих освобождения славянского племени из-под многолетнего ига. Эти передовые люди должны понять, что-то самое, что в прошедшие времена составляло слабость славянских народов, а именно их неспособность образовать государство, в настоящее время составляет их силу, их право на будущность, дает смысл всем их настоящим народным движениям. Несмотря на громадное развитие новейших государств и вследствие этого окончательного развития, доведшего, впрочем, совершенно логически и с неотвратимою необходимостью самый принцип государственности до абсурда, стало ясно, что дни государств и государственности сочтены и что приближаются времена полного освобождения чернорабочих масс и их вольной общественной организации снизу вверх, без всякого правительственного вмешательства из вольных экономических, народных союзов, помимо всех старых государственных границ и всех национальных различий, на одном основании производительного труда, совершенно очеловеченного и вполне солидарного при всем своем разнообразии.

Передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую

филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений, мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта манера, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа.

Всякий народ, точно так же, как и всякое лицо, есть поневоле то, что он есть и имеет несомненное право быть самим собою. В этом заключается все так называемое национальное право. Но если народ или лицо существуют в таком виде и не могут существовать в другом, из этого не следует, чтобы они имели право и что для них было бы полезно ставить одному свою национальность, другому свою индивидуальность как особые начала и чтобы они должны были вечно возиться с ними. Напротив, чем меньше они думают о себе и чем более проникаются общечеловеческим содержанием, тем более оживотворяется и получает смысл национальность одного и индивидуальность другого.

Так точно и славяне. Они останутся чрезвычайно ничтожны и бедны, пока будут продолжать хлопотать о своем узком, эгоистическом и вместе с тем отвлеченном славянизме, постороннем, а по тому самому противном общечеловеческому вопросу и делу, и завоюют они только, тогда как славяне свое законное место в истории и свободном братстве народов, когда проникнутся вместе с другими мировым интересом.

Во всех эпохах истории существует интерес общечеловеческий, преобладающий над всеми другими, более частными и исключительно народными интересами, и тот народ или те народы, которые находят в себе призвание, т. е. достаточно понимания, страсти и силы, чтоб предаться ему исключительно, становятся главным образом народами историческими. Интересы, преобладавшие таким образом в разные эпохи истории, были различны. Так, чтобы не идти слишком далеко, был интерес не столько человеческий, сколько божеский, а потому и противный свободе и благоденствию народов, интерес преобладающий и в высшей степени завоевательный, католической веры и католической церкви, а те народы, которые тогда находили в себе наиболее склонности и способности предаться ему, немцы, французы, испанцы, отчасти поляки, были именно вследствие того каждый в своем кругу народами первенствующими.

Последовал другой период умственного возрождения и религиозного бунта. Общечеловеческий интерес возрождения вывел на первый план прежде всего итальянцев, потом французов и, в гораздо слабейшей степени, англичан, голландцев и немцев. Но религиозный бунт, еще прежде поднявший Южную Францию, выдвинул на самое видное место в XV веке наших славянских гуситов. Гуситы после вековой геройской борьбы были задавлены, так же как раньше их были задавлены французские альбигойцы. Тогда Реформация оживотворила народы немецкий, французский, английский, голландский, швейцарский и скандинавский. В Германии она очень скоро утратила характер бунта, не свойственный немецкому темпераменту, и приняла вид мирной государственной реформы, послужившей немедленно основанием для самого правильного, систематического, ученого государственного деспотизма. Во Франции после долгой и кровавой борьбы, послужившей немало к развитию свободной мысли в этой стране, они были раздавлены торжествующим католицизмом. Зато в Голландии, в Англии, а вслед за тем и в Соединенных Штатах Америки они создали новую цивилизацию, по сущности своей антигосударственную, но буржуазно± экономическую и либеральную.

Таким образом, религиозное реформационное движение, обнявшее почти всю Европу в XVI веке, породило в цивилизованном человечестве два главные направления: экономически и либерально-буржуазное, имевшее во главе своей главным образом Англию, а потом Англию и Америку, и деспотически-государственное, по сущности своей также буржуазное и протестантское, хотя смешанное с дворянским католическим элементом, впрочем, вполне подчинившимся государству. Главными представителями этого направления были Франция и Германия сначала австрийская, потом прусская.

Великая революция, ознаменовавшая конец XVIII века, выдвинула опять на первое, на первенствующее место Францию. Она создала новый общечеловеческий интерес, идеал полнейшей человеческой свободы, но только на *исключительно политическом* поприще; идеал, заключавший неразрешимое противоречие, а потому и неосуществимый; политическая свобода без экономического равенства и вообще политическая свобода, т. е. свобода в государстве, есть ложь.

Французская революция породила, таким образом, в свою очередь, два главные направления,

друг другу противуположные, друг с другом вечно борющиеся и вместе с тем неразрывные, скажем более, сходящиеся непременным образом в одинаковом стремлении к одной и той же цели систематического эксплуатирования чернорабочего пролетариата в пользу имущего и численно постепенно уменьшающегося, а вместе с тем все более и более обогащающегося меньшинства.

На этой эксплуатации народного труда одна партия хочет построить демократическую республику; другая, более последовательная, стремится основать на ней монархический, т. е. искренний государственный, деспотизм, централистическое, бюрократическое, полицейское государство военною диктатурою, еле-еле замаскированною невинными конституционными формами.

Первая партия под предводительством г-на Гамбетты стремится ныне захватить власть во Франции. Вторая, предводимая князем Бисмарком, уже вполне воцарилась в прусской Германии.

Трудно решить, которое из этих двух направлений полезнее для народа или, говоря точнее, которое из них представляет наименее вреда и зла для народа, для чернорабочих масс, для пролетариата; оба стремятся с одинаково упорною страстью к основанию или к укреплению сильного государства, т. е. полнейшего рабства пролетариата.

Против этих народопритеснительных направлений государственных, республиканских и новомонархических, порожденных великою буржуазною революцией 1789 и 1793, из глубины самого пролетариата, сначала французского и австрийского, а потом и других стран Европы, выработалось наконец направление совершенно новое и прямо идущее к уничтожению всякого эксплуатированья и всякого политического или юридического, равно как и правительственно-административного притеснения, т. е. к уничтожению всех классов посредством экономического уравнения всех состояний и к уничтожению их последней опоры, Государства.

Такова программа Социальной Революции.

Итак, в настоящее время существует для всех стран цивилизованного мира только один всемир-ный вопрос, один мировой интерес полнейшее и окончательное освобождение пролетариата от экономической эксплуатации и от государственного гнета. Очевидно, что этот вопрос без кровавой, ужасной борьбы разрешиться не может и что настоящее положение, право, значение всякого народа будет зависеть от направления, характера и степени участия, которое он примет в этой борьбе.

Не ясно ли, стало быть, что славяне должны искать и могут завоевать свое право и место в истории и в брате ком союзе народов только путем Социальной Революции?

Но Социальная Революция не может быть одинокою революциею одного народа; она по существу своему революция интернациональная, значит, славяне, отыскивающие своей свободы и ради своей свободы, должны связать свои стремления и организацию своих народных сил с стремлениями и с организацией народных сил всех других стран; славянский пролетариат должен войти целою массою в Интернациональную ассоциацию рабочих.

Мы уже имели случай упомянуть о великолепном заявлении интернационального братства венскими работниками в 1868, отказавшимися, несмотря на все убеждения австрийских и швабских патриотов, поднять пангерманское знамя, объявив решительно, что рабочие целого мира их братья и что они не признают другого лагеря, кроме интернационально-солидарного пролетариата всех стран; они вместе с тем очень справедливо рассудили и высказали, что именно им, как австрийским работникам, нельзя поднять никакого национального знамени, так как австрийский пролетариат состоит из самых разных племен: мадьяр, итальянцев, румынов, главнейшим образом из славян и немцев; и что поэтому они должны искать практического разрешения своих вопросов вне так называемого национального государства.

Еще несколько шагов в этом направлении, и австрийские работники поняли бы, что освобождение пролетариата невозможно решительно ни в каком государстве и что первое условие его разрушение всякого государства; а такое разрушение возможно только при дружном содействии пролетариата всех стран, первая организация которого на почве экономической составляет именно предмет Интернациональной ассоциации рабочих.

Поняв это, немецкие работники в Австрии сделались бы инициаторами не только своего собственного освобождения, но вместе с тем и освобождения всех не немецких народных масс в Австрийской империи, включая, разумеется, и всех славян, которых бы мы первые стали уговаривать вступить с ними в союз, имеющий целью разрушение государства, т. е. народной тюрьмы, и основание нового интернационального рабочего мира на начале полнейшего равенства и свободы.

Но австрийские рабочие этих необходимых первых шагов не сделали и не сделали их потому, что были остановлены на первом шагу германо-патриотической пропагандою г-на Либкнехта и других

социальных демократов, приехавших вместе с ним в Вену, кажется, в июле 1868 года именно с целью совратить верный социальный инстинкт австрийских работников с пути интернациональной революции и направить его к политической агитации в пользу основания единого государства, называемого ими *народным* , разумеется, пангерманского одним словом, для осуществления патриотического идеала князя Бисмарка, только на социально-демократической почве и посредством так называемой легальной народной агитации.

По этому пути не только славянам, но даже и немецким работникам идти не следует по той простой причине, что государство, называйся оно десять раз народным и будь оно разукрашено наидемо-кратичнейшими формами, для пролетариата будет непременно тюрьмою, славянским же идти по этому направлению еще невозможнее, потому что это значило бы подчиниться охотно немецкому игу, а это противно всякому славянскому сердцу. Вследствие того мы не только не станем уговаривать братьев славян вступить в ряды социально-демократической партии немецких рабочих, во главе кото-рых стоят прежде всего в виде дуумвирата, облеченного диктаторскою властью, гг. Маркс и Энгельс, а за ними или под ними гг. Бебель, Либкнехт и несколько литераторствующих евреев; мы, напротив, должны употребить все усилия, чтобы отвратить славянский пролетариат от самоубийственного вступления в союз с этою партиею, отнюдь не народною, но по своему направлению, по цели и сред-ствам чисто буржуазною и к тому же исключительно немецкою, т. е. славяноубийственною.

Но чем энергичнее славянский пролетариат ради своего спасения должен отвергать не только союз, но и сближение с этой партией мы не говорим, с работниками, находящимися в ней, но с ее организацией, а главное, с ее начальством везде и всегда буржуазным, тем теснее, ради того же спасения, должен он сблизиться и связаться с Интернациональным обществом рабочих. Отнюдь не должно смешивать немецкую партию социальных демократов с Интернационалом. Политически-патриотическая программа первой не только не имеет почти ничего общего с программой последнего, но даже совершенно противна ей. Правда, на подтасованном Гаагском конгрессе марксисты попробовали было навязать свою программу всему Интернационалу. Но эта попытка вызвала со сто-роны Италии, Испании, части Швейцарии, Франции, Бельгии, Голландии, Англии, также отчасти Се-верных Штатов Америки такой громадный протест, что всему свету стало ясно, что немецкой про-граммы, кроме самих немцев, не хочет никто. Да, без сомнения, придет время, когда и сам немецкий пролетариат, поняв лучше и свои собственные интересы, нераздельные с интересами пролетариата всех других стран, и пагубное направление этой программы, ему навязанной, но далеко не им создан-ной, откажется от нее и оставит при ней своих буржуазных предводителей, фюреров.

Славянский же пролетариат, повторяем, ради собственного освобождения из-под великого ига должен войти массами в Интернационал, образовать фабричные, ремесленные и земледельческие сек-ции и соединить их в местные федерации, а если окажется нужным, то, пожалуй, и в общеславянскую федерацию. На почве Интернационала, освобождающего всех и каждого от государственного отече-ства, славянские работники должны и могут без малейшей опасности для своей самостоятельности встретиться братски с немецкими работниками, союз с которыми на другой почве для них решительно невозможен.

Таков единственный путь для освобождения славян. Но путь, по которому идет ныне огромное большинство западно и югославянской молодежи под предводительством своих маститых и более или менее заслуженных патриотов, совершенно противный, исключительно государственный и для народных масс гибельный.

Возьмем для примера турецкую Сербию, и именно Сербское княжество, как единственный пункт вне России, да еще Черногорию, где славянский элемент дошел до политического существования, бо-лее или менее самостоятельного.

Сербский народ пролил много крови, чтобы освободиться из-под турецкого ига; но едва освобо-дился он от турок, как его запрягли в новое, на этот раз домашнее, государство под именем княжества Сербского, иго которого в действительности чуть ли не тяжелее турецкого. Едва эта часть сербской земли получила вид, устройство, законы, учреждения более или менее правильного государства, как народная жизнь и народная сила, возбудившие героическую борьбу против турок и одержавшие над ними окончательную победу, как будто вдруг замерли. Народ, правда, невежественный и чрезвычайно бедный, но энергический, страстный и от природы вольнолюбивый, вдруг обратился в безгласное и как бы неподвижное стадо, отданное на жертву бюрократическому грабежу и деспотизму.

В турецкой Сербии нет ни дворянства, ни очень больших поземельных собственников, нет ни промышленников, ни чрезвычайно богатых купцов зато образовалась новая бюрократическая

аристократия, состоящая из молодых людей, воспитанных большею частью на казенный счет в Одессе, в Москве, в Петербурге, в Вене, в Германии, в Швейцарии, в Париже. Пока они молоды и не успели развратиться в государственной службе, эти молодые люди отличаются большею частью горячим патриотизмом, народолюбием, довольно искренним либерализмом и даже в последнее время демократизмом и социализмом. Но лишь только они поступают на службу, железная логика положения, сила вещей, присущая известным иерархическим и выгодным политическим отношениям, берут свое, и молодые патриоты становятся с ног до головы чиновниками, продолжая, пожалуй, быть и патриотами, и либералами. Но известно ведь, что такое либеральный чиновник; он несравненно хуже простого и откровенного чиновника-палки.

К тому же требования известного положения всегда оказываются сильнее чувств, замыслов и добрых побуждений. Возвратившись домой, молодые сербы, получившие образование за границей, по образованию, а главным образом по обязательствам своим в отношении правительства, на счет которого они, большею частью, содержались за границею, а также и потому, что для них решительно невозможно отыскать другие средства существования, должны идти в чиновники, сделаться членами единственной аристократии, существующей в крае, членами бюрократического класса. Вступив же раз в этот класс, они становятся поневоле врагами народа. Им хотелось бы, может быть, и весьма вероятно, особенно вначале, хотелось бы освободить свой народ или, по крайней мере, улучшить его положение, а они должны его давить и грабить. Достаточно прожить года два-три в таком положении, чтобы с ним освоиться и, наконец, примириться при помощи какой-нибудь либеральной или даже демократически± доктринерной лжи; а такою ложью наше время богато. Раз примирившись с железною необходимостью, против которой они бунтовать не в силах, они становятся уже отъявленными мошенниками, и мошенниками тем более опасными для народа, чем либеральнее и демократичнее их публичные заявления.

Тогда те из них, которые половчее и похитрее, приобретают в микроскопическом правительстве микроскопического княжества преобладающее влияние и, едва успев приобрести его, начинают продавать себя во все стороны: дома владетельному князю или какому-нибудь претенденту на престол (акт низвержения одного князя для заменения его другим в Сербском княжестве называется революцией); или вместо того, а иногда в то же самое время правительствам великих покровительствующих держав, России, Австрии, Турции, теперь Германии, заступившей на востоке, как и везде, место Франции, и даже нередко всех вместе.

Можно себе представить, как легко и свободно живется народу в таком государстве, а между тем не должно забывать, что Сербское княжество государство конституционное, где все законы пекутся скупчиною, избираемою народом.

Иные сербы утешают себя мыслью, что это положение, по своему существу переходное, представляет неотвратимое зло в настоящее время, но что оно непременно изменится, как только маленькое княжество, расширив свои границы и приняв в свой состав все сербские, иные даже говорят, все югославянские, земли, восстановит во всем его объеме царство Душана. Тогда, говорят они, настанет для народа время полнейшей свободы и самого широкого раздолья.

Да, есть между сербами люди, которые до сих пор пренаивно верят в это!

Да, они воображают, что, когда это государство расширит свои пределы и когда число его подданных удвоится, утроится, удесятерится, оно сделается народнее, и его учреждения, все условия его существования, его правительственные действия будут менее противны народным интересам и всем народным инстинктам. Но на чем основывается такая надежда или такое предположение? На теории? Но теоретически, напротив, кажется ясно, что чем обширнее государство, тем многосложнее его организм и тем более чуждо оно народу и, именно вследствие того, тем противнее интересы его интересам народных масс, тем более подавляющим гнетом оно ложится на них и тем невозможнее для народа всякий контроль над ним, тем далее государственное управление от народного самоуправления.

Или основываются их ожидания на практическом опыте других стран? В ответ достаточно указать на Россию, на Австрию, на расширенную Пруссию, на Францию, на Англию, на Италию, даже на Соединенные Штаты Америки, где заправляет всеми делами особый, совершенно буржуазный класс так называемых политиканов, или политических дельцов, а чернорабочим массам живется почти так же тесно и жутко, как и в монархических государствах.

Найдутся, пожалуй, многообразованные сербы, способные возразить, что дело совсем не в народных массах, которые имеют и будут иметь всегда своим назначением материальным грубым

трудом кормить, одевать и вообще содержать цвет отечественной цивилизации, настоящей представительницы страны, и что поэтому дело лишь в образованных, более или менее имущих и привилегированных классах.

В том-то и дело, что эти так называемые образованные классы, дворянство, буржуазия, когда± то действительно процветавшие и стоявшие во главе живой и прогрессивной цивилизации в целой Европе, в настоящее время отупели и опошлели от ожирения и от трусости, что если они еще что-нибудь представляют, то разве самые зловредные и подлые свойства человеческой природы. Мы видим, что эти классы в такой высокообразованной стране, как Франция, неспособны были даже отстоять независимость своей родины против немцев. Мы видели и видим, что в самой Германии эти классы способны только к верноподданническому лакейству.

И, наконец, заметим, что в турецкой Сербии эти классы даже совсем не существуют; там существует только класс бюрократический. Итак, сербское государство будет давить сербский народ для того только, чтобы жирнее жилось сербским чиновникам.

Другие, ненавидя от всей души настоящее устройство Сербского княжества, терпят его, однако, смотря на него как на средство или орудие, необходимое для освобождения славян, еще подвластных турецкому или даже австрийскому игу. В известный момент, говорят они, княжество может сделаться основою и точкою отправления для общеславянского бунта. Это еще одно из тех пагубных заблуждений, которые надо непременно разрушить для собственных благи славян.

Их соблазняет пример Пьемонтского королевства, будто бы освободившего и соединившего всю Италию. Италия освободилась сама рядом бесчисленных героических жертв, которые не переставала приносить в продолжение пятидесяти лет. Она обязана своею политическою независимостью главным образом сорокалетним непрерывным и неудержимым усилиям своего великого гражданина, Джузеппе Мадзини, умевшего, можно сказать, воскресить, а потом воспитать итальянскую молодежь в опасном, но доблестном деле патриотической конспирации. Да, благодаря двадцатилетней работе Мадзини, в 1848, когда восставший народ позвал опять на праздник революции весь европейский мир, во всех городах Италии, от самого крайнего юга до крайнего севера, нашлась кучка смелых молодых людей, поднявших знамя бунта. Вся итальянская буржуазия за ними последовала. А в Ломбардо-Венецианском королевстве, находившемся еще тогда под австрийским владычеством, встал целый народ. И сам народ без всякой военной помощи выгнал австрийские полки из Милана и Венеции.

Что же сделал королевский Пьемонт? Что сделал король Карл Альберт, отец Виктора Эммануила, тот самый, который, будучи еще наследным принцем (1821), выдал австрийским и пьемонтским палачам своих товарищей по заговору в пользу освобождения Италии. Первым делом пьемонтского короля в 1848 было парализовать революцию во всей Италии посредством обещаний, происков и интриг. Ему очень хотелось овладеть Италиею, но он столько же ненавидел революцию, сколько боялся ее. Он действительно парализовал революцию, силу и движение народа в Италии, после чего австрийским войскам нетрудно было справиться с его войском.

Сына его, Виктора Эммануила, называют освободителем и соединителем итальянских земель. Это гнусная клевета на него! Уж если кого называть освободителем Италии, то скорее Людовика Наполеона, императора французов. Но Италия освободилась сама, а главное, она соединилась сама, помимо Виктора Эммануила и против воли Наполеона III.

В 1860, когда Гарибальди предпринял свою знаменитую высадку в Сицилию, в то самое время, когда он отправился из Генуи, граф Кавур, министр Виктора Эммануила, предупредил неаполитанское правительство об угрожавшем ему нападении. Но когда Гарибальди освободил и Сицилию, и все Неаполитанское королевство, Виктор Эммануил принял от него, разумеется, даже без большой благодарности, и то и другое.

И в продолжение тринадцати лет, что сделало его управление с этою несчастною Италией? Он ее разорил, просто ограбил, а теперь, ненавидимый всеми, своим деспотизмом заставляет почти жалеть изгнанных Бурбонов. Так освобождают короли и государства своих соплеменников; и никому не было бы так полезно, как именно сербам, изучить в ее действительных подробностях новейшую историю Италии.

Одно из средств сербского правительства успокоивать патриотическую горячку своей молодежи состоит в периодических обещаниях объявить войну Турции будущею весною, а иногда осенью, по окончании сельских работ, и молодые люди верят, волнуются и всякое лето и всякую зиму готовятся, после чего всегда какое-нибудь непредвиденное препятствие, какая± нибудь нота одной из покровительствующих держав становится поперек обещанного объявления войны; она откладывается

на полгода или на год, и таким образом вся жизнь сербских патриотов проходит в томительном и тщетном ожидании никогда не приходящего исполнения.

Сербское княжество не только не в состоянии освободить южнославянские, сербские и не сербские племена, оно, напротив, своими происками и интригами положительно их разъединяет и обессиливает. Болгары, напр., готовы признать братьями сербов, но и слышать не хотят о сербском Душановском царстве; точно так же и хорваты, так же и черногорцы, и боснийские сербы.

Для всех этих стран спасение одно и путь к соединению один Социальная Революция, но никак не государственная война, которая может привести только к одному к покорению всех этих стран или Россией, или Австрией, или, по крайней мере вначале, вернее всего, разделению их между обеими.

Чешская Богемия не успела еще, благодаря небесам, восстановить во всем их древнем величии и славе державу и корону Венцеслава; центральное правительство Вены обходится с Богемиею, как с простою провинциею, не пользующейся даже привилегиями Галиции, а между тем в Богемии столько же политических партий, сколько их в любом славянском государстве. Да, этот проклятый немецкий дух политиканства и государственности так проник в образование чешского юношества, что оно подвергается серьезной опасности утратить вконец способность понимать свой народ.

Чешский крестьянский народ представляет один из великолепнейших славянских типов. В нем течет гуситская кровь, горячая кровь таборитов, живет память Жижки; и что, по нашему собственному опыту и по воспоминаниям, вынесенным нами из 1848, составляет одно из завиднейших преимуществ чешской учащейся молодежи, это ее родственное, истинно± братское отношение к этому народу. Чеш-ский городской пролетарий не уступает в энергии и в горячей преданности крестьянину; он также до-казал это в 1848 году.

Пролетариат и крестьянство до сих пор любят учащуюся молодежь и верят в нее. Но молодые чешские патриоты не должны слишком рассчитывать на эту веру. Она необходимым образом должна будет ослабеть и под конец совсем исчезнуть, если они не обретут в себе достаточно справедливости, широкого чувства равенства, свободы и настоящей любви к народу, чтобы идти вместе с ним. Народ же чешский а мы под словом народ разумеем всегда главным образом пролетариат, итак, славянский пролетариат в Богемии стремится естественным и неотвратимым образом туда, куда стре-мится ныне пролетариат всех стран, к экономическому освобождению, к Социальной Революции.

Он был бы народом чрезвычайно обиженным природою и забитым историею или, говоря откро-венно, чрезвычайно глупым и мертвым, если бы оставался чуждым этому стремлению, составляю-щему единственный существенный мировой вопрос нашего времени. Такого комплимента чешская молодежь не захочет сделать своему народу, а если бы захотела, то народ не оправдает его. Да к тому же мы имеем неопровержимое доказательство живого интереса западнославянского проле-тариата к социальному вопросу. Во всех австрийских городах, где славянское население смешано с немецким, славянские работники принимают самое энергическое участие во всех общих заявлениях пролетариата. Но в этих городах не существует почти других рабочих ассоциаций, кроме тех, которые признали программу социальных демократов Германии, так что выходит на деле, что славянские ра-ботники, увлеченные своим социально-революционным инстинктом, вербуются в партию, прямая и громко признанная цель которой создание пангерманского государства, т. е. огромной немецкой тюрьмы.

Этот факт очень печален, но он столь же естествен. Славянским работникам предстоят два выбора: или, увлекаясь примером немецких работников, своих братьев по социальному положению, по общей судьбе, по голоду, по нужде и по всем притеснениям, вступить в партию, которая им обещает государство, правда, немецкое, но зато вполне народное и со всеми возможными экономическими льготами в ущерб капиталистов и собственников и в пользу пролетариата; или же, увлекаясь патриотической пропагандою своих маститых, знаменитых вождей и своей пылкой, но мало еще смыслящей молодежи, вступить в партию, в рядах и во главе которой они встречают ежедневных экс-плуататоров и притеснителей, буржуазов, фабрикантов, купцов, денежных спекуляторов, попов-иезу-итов и феодальных владетелей огромных наследственных или благоприобретенных поместий. Эта партия, впрочем, с гораздо большею последовательностью, чем первая, обещает им тюрьму нацио-нальную, т. е. славянское государство, восстановление во всем ее древнем блеске короны Венце-слава точно будто от этого блеска чешским работникам станет легче!

Если бы славянским работникам действительно не было другого исхода, кроме этих двух путей, то, признаемся, мы сами посоветовали бы им избрать первый. Так, по крайней мере, они ошибаются, делят общую судьбу с братьями по труду, по преданиям, по жизни, немцами или не немцами, все

равно; здесь же их заставляют называть братьями своих непосредственных палачей, своих кровопийц и принуждают налагать на себя самые тяжелые цепи во имя общеславянского освобождения. Там они обманываются, здесь их продают.

Но существует третий, прямой и спасительный выход образование и союзная организация рабочих фабричных и земледельческих ассоциаций на основании программы Интернационала; разумеется, не той программы, которая под именем Интернационала проповедуется партиею, почти исключительно патриотическою и политическою, социальных демократов Германии; но той, которая теперь признается всеми вольными федерациями Интернационального общества рабочих, а именно работниками итальянскими, испанскими, юрскими, французскими, бельгийскими, английскими и отчасти американскими, не признается же в сущности одними немцами[1].

Мы убеждены, что этот выход единственный выход как для чехов, так и для всех других славянских народов, ищущих своего полного освобождения от всякого ига, немецкого и не немецкого; вне его остается только обман, для бесчестных и честолюбивых вожаков и предводителей партий почести да карманная прибыль, а для чернорабочих масс рабство.

Вопрос для чешской и вообще для всякой славянской образованной молодежи поставлен теперь очень ясно: хочет ли она эксплуатировать свой народ, обогащаться его трудом и на плечах его удовлетворять подлое честолюбие? Она пойдет с старыми славянофильствующими партиями, с Палацкими, Ригерами, Браунерами и компаниею. Спешим, впрочем, прибавить, что между молодыми приверженцами этих вождей есть и много ослепленных, обманутых, которые для себя собственно ничего не приобретают, но служат в руках искусных людей приманкою для народа. Роль, во всяком случае, весьма незавидная.

Те же, которые хотят искренно и действительно полной эмансипации народных масс, те пойдут с нами путем Социальной Революции, потому что нет другого пути для завоевания народной свободы. До сих пор, однако, во всех западнославянских странах преобладала политика старая, государственность самая узкая, разыгрывалась просто-напросто немецкая комедия, переведенная только на чешский язык; и даже не одна комедия, а целых две: одна чешская, другая польская. Кто не знает плачевной истории союзов и разрывов, перемежавшихся между государственными людьми Богемии и Галиции, и ряд уморительных представлений, данных чешскими и галицийскими депутатами, то вместе, то порознь, в австрийском рейхсрате? Н основе же всего лежала и лежит иезуитско-феодальная интрига. И такими жалкими, можно сказать, подлыми средствами эти господа надеются освободить своих сограждан! Странные государственные люди, и как, должно быть, потешается, глядя на их игру в государство, их близкий сосед, князь Бисмарк!

Раз, однако, после знаменитого поражения, претерпенного им в Вене, вследствие одной из бесчисленных измен их галицийских союзников, чешский государственный триумвират, Палацкий, Ригер и Браунер, решился сделать смелую демонстрацию. По поводу славянской этнографической выставки, нарочно для этого открытой в Москве в 1867, они отправились сами и увлекли за собой большое количество западных и южных славян на поклонение белому царю, палачу славяно-польского народа. В Варшаве их встретили русские генералы, русские чиновники и русские чиновные дамы, и в польской столице, при гробовом молчании всего польского населения, эти свободолюбивые славяне целовались, обнимались с этими русскими братоубийцами, пили с ними и кричали «ура! за славянское братство!

Все знают, какие речи они произносили потом в Москве и Петербурге. Одним словом, более постыдного поклонения дикой и беспощадной власти и более преступной измены и славянскому братству, и истине, и свободе со стороны маститых либералов, демократов и народолюбцев никогда не было видано и эти господа преспокойно возвратились со всем синклитом своим в Прагу, и никто не сказал им, что они совершили не только подлость, но даже глупость.

Да, глупость совершенно бесполезную, потому что она нисколько им не послужила и не поправила их дел в Вене. Теперь это ясно; короны Венцеслава с ее старой независимостью они не восстановили и дожили до того, что новая парламентская реформа отняла у них и ту последнюю политическую почву, на которой они играли в государственную игру.

---

[1] В Цюрихе образовалась славянская секция, вошедшая в состав Юрской Федерации; мы горячо рекомендуем всем славянам программу этой секции.

После своего поражения в Италии австрийское правительство, принужденное отпустить в известной мере на волю Венгерское королевство, долго думало, как ему устроить свое цислейтанское государство. Его собственные инстинкты и требования немецких либералов и демократов клонили его к централизации; но славяне, особенно Богемия и Галиция, опираясь на феодально-клерикальную партию, громко требовали федеративной системы. Это колебание продолжалось до нынешнего года. Наконец, правительство решилось, к ужасу славян и к величайшей радости немецких либералов и демократов, на все земли, входящие в состав цислейтанского государства, надеть опять старые немецкие бюрократические шапки.

Должно заметить, однако, что от этого Австрийская империя сильнее не сделалась. Она утратила настоящее средоточие. Все немцы и жиды в империи ищут отныне своего центра в Берлине. В то же время часть славян смотрит на Россию; другие, руководимые инстинктом более верным, ищут спасения в образовании народной федерации. От Вены никто более не ждет ничего. Не ясно ли, что Австрийская империя собственно кончилась и что если она хранит еще вид существования, то только благодаря расчетливому долготерпению России и Пруссии, которые медлят и не хотят еще приступить к ее разделу, потому что каждая надеется втайне, что при удобном случае ей удастся захватить львиную часть.

Ясно, стало быть, что Австрия не в состоянии состязаться с новою Пруссо-германскою империею. Посмотрим, в состоянии ли сделать это Россия. Не правда ли, читатель, Россия сделала неслыханные успехи во всех отношениях со времени вступления на престол ныне благополучно царствующего императора Александра II?

И в самом деле, если мы захотим измерить успехи, сделанные ею за последние двадцать лет, сравним расстояние, которое во всех отношениях отделяло ее тогда, например, в 1856 г., от Европы, с тем расстоянием, которое существует между ними теперь, то успех окажется удивительный. Россия поднялась, правда, не слишком высоко, но зато Западная Европа, официальная и официозная, бюрократическая и буржуазная, упала значительно, так что расстояние решительно уменьшилось. Какой немец или француз посмеет, например, говорить о русском варварстве и палачестве после ужасов, совершенных немцами во Франции в 1870 г., и французскими войсками против родного Парижа в 1871. Какой француз посмеет толковать о подлости и продажности русских чиновников и государственных людей после всей грязи, выступившей наружу и чуть не затопившей французский бюрократический и политический мир. Нет, решительно, глядя на французов и немцев, русским подлецам, пошлякам, ворам и палачам не осталось более никакой причины краснеть. В нравственном отношении в целой официальной и официозной Европе установилось скотство или, по крайней мере, скотообразие удивительное.

Другое дело в отношении политического могущества, хотя и тут, по крайней мере в сравнении с французским государством, наши квасные патриоты могут кичиться, потому что в политическом отношении Россия стоит несомненно самостоятельнее и выше, чем Франция. За Россией ухаживает сам Бисмарк, а за Бисмарком ухаживает побежденная Франция. Весь вопрос в том, каково отношение могущества всероссийской империи к могуществу пангерманской империи, несомненно преобладающему, по крайней мере, на континенте Европы?

Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека знаем, что такое, с точки зрения внутренней жизни ее, наша любезная всероссийская империя. Для небольшого количества, может быть, для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и со всею знатною челядью, она неистощимый источник всех благ, кроме умственных и человеческинрав-ственных; для более обширного, хотя все еще тесного меньшинства, состоящего из нескольких десят-ков тысяч людей, высоких военных, гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов, она благодушная, благодетельная и снисходительная покрови-тельница законного и весьма прибыльного воровства; для обширнейшей массы мелких служащих, все± таки еще ничтожной в сравнении с народною массою, скупая кормилица; а для бесчисленных миллионов чернорабочего народа злодейка-мачеха, безжалостная обирательница и в гроб загоняю-щая мучительница.

Такою она была до крестьянской реформы, такою осталась теперь и будет всегда. Доказывать это русским нет никакой необходимости. Какой же взрослый русский не знает, может не знать этого? Русское образованное общество разделяется на три категории: на таких, которые, зная это, находят для себя слишком невыгодным признавать эту истину, несомненную точно так же для них, как и для

всех; на таких, которые не признают ее, не говорят о ней из боязни; и наконец, на тех, которые за неимением другой смелости, по крайней мере, дерзают ее высказывать. Есть еще четвертая категория, к несчастью слишком малочисленная и состоящая из людей не на шутку преданных народному делу и не довольствующихся высказыванием.

Есть, пожалуй, пятая, даже и не столь малочисленная категория людей, ничего не видящих и ничего не смыслящих. Ну, да с этими и говорить нечего.

Всякий сколько-нибудь мыслящий и добросовестный русский должен понимать, что наша империя не может переменить своего отношения к народу. Всем своим существованием она обречена быть губительницею его, его кровопийцею. Народ инстинктивно ее ненавидит, а она неизбежно его гнетет, так как на народной беде построено все ее существование и сила. Для поддержания внутреннего порядка, для сохранения насильственного единства и для поддержания внешней даже не завоевательной, а только самоохраняющей силы ей нужно огромное войско, а вместе с войском нужна полиция, нужна бесчисленная бюрократия, казенное духовенство- Одним словом, огромнейший официальный мир, содержание которого, не говоря уже о его воровстве, неизбежно давит народ.

Нужно быть ослом, невеждою, сумасшедшим, чтобы вообразить себе, что какая-нибудь конституция, даже самая либеральная и самая демократическая, могла бы изменить к лучшему это отношение государства к народу; ухудшить, сделать его еще более обременительным, разорительным пожалуй, хотя и трудно, потому что зло доведено до конца; но освободить народ, улучшить его состояние это просто нелепость! Пока существует империя, она будет заедать наш народ. Полезная конституция для народа может быть только одна разрушение империи.

Итак, мы не будем говорить о ее внутреннем состоянии, убежденные, что она не может быть хуже; но посмотрим, достигает ли она действительно той внешней цели, которую дает, разумеется, не человеческий, а политический смысл ее существованию. Ценою огромных и бесчисленных народных жертв, правда, невольных, но тем еще более жестоких, умела ли она создать, по крайней мере, военную силу, способную состязаться с военною силою, например, новой Германской империи?

В этом, собственно, в настоящее время состоит весь *политический* русский вопрос; вопрос же внутренний, мы знаем, остается теперь один вопрос Социальной Революции. Но мы остановимся теперь на внешнем вопросе и спросим, способна ли Россия бороться против Германии?

Взаимные любезности, клятвы, лобызания и слезопролития, расточаемые теперь между двумя императорскими дворами, между берлинским дядею и петербургским племянником, ничего не значат. Известно, что в политике все это не стоит и гроша. Вопрос, затронутый нами, поставлен с неотвратимою необходимостью новым положением Германии, которая за одну ночь выросла в огромное и всесильное государство. Но вся история свидетельствует, и самая рациональная логика подтверждает, что два равносильных государства не могут существовать рядом, что это противно их существу, состоящему и выражающемуся неизменно и необходимо в преобладании; но преобладание не терпит равносилия. Одна сила непременно должна быть сломлена, должна покориться другой.

Да, это составляет теперь существенную необходимость для Германии. После долгого, долгого политического унижения она вдруг стала могущественнейшей державою на континенте Европы. Может ли она терпеть, чтобы рядом, так сказать, у самого ее носа стояла держава вполне от нее независимая, ею еще не побежденная и смеющая равняться с нею, говорим мы, как с равною! И какая еще держава, русская, т. е. самая ненавистная!

Мы думаем, что мало русских, которые не знали бы, до какой степени немцы, все немцы, а главным образом немецкие буржуазы, и под их влиянием, увы! и сам немецкий народ ненавидят Россию. Они ненавидят и ненавидели французов, но эта ненависть ничто в сравнении с тою, которую они питают против России. Эта ненависть составляет одну из сильнейших национальных немецких страстей.

Каким образом создалась эта общенациональная страсть? Начало ее было довольно почтенно: это был протест все-таки несравненно более гуманный, хотя и немецкий, цивилизации против нашего татарского варварства. Потом, а именно в двадцатых годах, она приняла характер протеста более определенного политического либерализма против политического деспотизма. Известно, что в двадцатых годах немцы не на шутку называли себя либералами и верили в свой либерализм. Они ненавидели Россию как представительницу деспотизма. Правда, что если бы они могли и хотели быть справедливы, они должны были бы, по крайней мере, разделить эту ненависть поровну между Россией, Пруссией и Австрией. Но это было бы противно их патриотизму, и потому они возложили всю ответственность за политику Священного союза на Россию.

В начале тридцатых годов польская революция возбудила живейшую симпатию в целой Германии, и кровавое усмирение ее усилило негодование немецких либералов против России. Все это было весьма естественно и законно, хотя и тут справедливость требовала бы, чтобы хоть какая-нибудь часть этого негодования пала на Пруссию, которая, очевидно, помогала России в отвратительном деле усмирения поляков; и помогала совсем не из великодушия, а потому, что того требовал ее собственный интерес, так как освобождение Царства Польского и Литвы имело бы непременным последствием восстание всей Польши прусской, что убило бы в корне возникавшее могущество прусской монархии.

Но во второй половине тридцатых годов возникла новая причина для ненависти немцев против России, придавшая этой ненависти совершенно новый характер, уже не либеральный, а политически-национальный, поднялся славянский вопрос, и вскоре между австрийскими и турецкими славянами образовалась целая партия, которая стала надеяться и ждать помощи из России. Уже в двадцатых годах тайное общество демократов, а именно южная отрасль этого общества, руководимая Пестелем, Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым, возымела первую мысль о вольной всеславянской федерации. Император Николай овладел этой мыслью, но переделал ее по-своему. Всеславянская вольная федерация обратилась в его уме в панславистское единое и самодержавное государство, разумеется, под его железным скипетром.

В начале тридцатых и в начале сороковых годов стали отправляться из Петербурга и из Москвы русские агенты в славянские земли, одни официальные, другие добровольные и бесплатные. Последние принадлежат к московскому, далеко не тайному обществу славянофилов. Поднялась между западными и южными славянами панславистическая пропаганда. Появилось много брошюр. Эти брошюры были частью написаны, частью же переведены по-немецки и перепугали пангерманскую публику не на шутку. Поднялся гвалт между немцами.

Мысль, что Богемия, древняя имперская земля, входящая в самое сердце Германии, может отторгнуться, стать самостоятельною славянскою страною или, чего Боже упаси, русскою провинциею, лишила их аппетита и сна, и с тех пор посыпались на Россию проклятия, с тех пор по самый настоящий час ненависть немцев росла против России. Теперь она проявляется в громадных размерах. Русские, с своей стороны, также не очень жалуют немцев; возможно ли, чтобы при существовании такого трогательного взаимного отношения две соседние империи, всероссийская и пангерманская, могли оставаться долго в мире?

А между тем побудительных причин для соблюдения мира между ними по самое настоящее время было, да и теперь еще существует достаточно. Первая причина Польша. Державных хищников, разделивших между собою самым разбойническим образом Польшу, было три австрийский, прусский и всероссийский. Но и в самый момент деления, и потом, всякий раз, когда поднимался вновь польский вопрос, наименее заинтересованною была и осталась Австрия. Известно, что в самом начале австрийский двор протестовал даже против деления, и только по настоятельному требованию Фридриха II и Екатерины II императрица Мария Терезия согласилась принять долю, выпадавшую на ее часть. Она пролила даже по этому случаю добродетельные слезы, сделавшиеся историческими, но все-таки приняла. И как было не принять? На то она и была венценосной особой, чтобы забирать. Для царей законы не писаны, а аппетитам их границ нет. В своих записках Фридрих II замечает, что, решившись раз принять участие в союзном грабеже, учиненном над Польшею, австрийское правительство, отыскивая какую-то небывалую реку, поспешило занять своими войсками гораздо более земли, чем ей было нужно по договору.

Но все-таки замечательно, что Австрия молилась и плакала, грабя, в то время как Россия и Пруссия совершали разбойничье дело, остря и смеясь. Известно, что Екатерина II и Фридрих II вели в то же самое время преостроумнейшую и самую филантропическую переписку с французскими философами. Еще замечательнее, что потом, даже до нашего времени всякий раз, когда несчастная Польша делала отчаянную попытку освободиться и восстановиться, российский и прусский дворы приходили в трепет и бешенство и явно или тайно спешили со единить усилия, чтобы раздавить восстание, тогда как Австрия, как бы невольная и увлеченная сообщница, не только не приходила в волнение и не присоединялась к их мероприятиям, но, напротив, при начале всякого нового польского восстания как будто изъявляла готовность помочь полякам и в некоторой степени действительно помогала. Так было в 1831, а еще яснее в 1862, когда Бисмарк открытым образом взял на себя роль русского жандарма; Австрия же, напротив, дозволила полякам перевозить, разумеется секретно, оружие в Польшу.

Каким образом объяснить эту разницу в поведении? Не благородством же, не человеколюбием и не справедливостью Австрии? Нет, просто-напросто ее интересом. Недаром плакала Мария Терезия.

Она чувствовала, что, посягая вместе с другими на политическое существование Польши, она рыла гроб Австрийской империи. Что могло быть для нее выгоднее, как соседство на ее северо-восточной границе этого дворянского, правда, не умного, но строго консервативного и вовсе не завоевательного государства; оно не только освобождало ее от неприятного соседства России, но отделяло ее и от Пруссии, служило ей драгоценною охраною против обеих завоевательных держав.

Нужно было иметь всю рутинную глупость, а главное, продажность министров Марии Терезии и потом высокомерное мелкоумие и злостно-реакционное упорство старого Меттерниха, который, впрочем, как известно, также был на пенсии у петербургского и берлинского дворов, надо было быть обреченным на гибель историею, чтобы не понять этого.

Всероссийская империя и Прусское королевство очень хорошо понимали свою обоюдную выгоду. Первое деление Польши давало значение великой *европейской* державы; второе вступило на путь, по которому ныне дошло до бесспорного преобладания. А вместе с тем, бросив окровавленный кусок растерзанной Польши Австрийской империи, обжорливой от природы, они приготовили эту империю себе на заклание, обрекли ее на позднейшую жертву своему столь же неутомимому аппетиту. Пока они не удовлетворят этому аппетиту, пока не поделят австрийские владения между собою, до тех пор останутся и принуждены оставаться союзниками и друзьями, хотя от всей души ненавидят друг друга. Немудрено, что самый дележ Австрии поссорит их, но до этого ничто в мире не в состоянии поссорить их.

Им невыгодно ссориться. У новой Пруссо-германской империи нет в настоящее время в Европе и в целом мире ни одного союзника, кроме России, да может быть еще при России Соединенные Штаты Америки. Все ее боятся и все ее ненавидят, все будут радоваться ее падению, потому что она давит всех, грабит всех. А между тем ей надо еще совершить много завоеваний, чтобы вполне осуществить план и идею пангерманской империи. Ей надо отобрать у французов не часть, а всю Лотарингию; надо завоевать Бельгию, Голландию, Швейцарию, Данию и весь Скандинавский полуостров; надо также прибрать в свои руки и наши прибалтийские провинции, чтобы одной хозяйничать на Балтийском море. Ну, словом, за исключением Венгерского королевства, которое она оставит мадьярам, и Галиции, которую вместе с австрийскою Буковиною уступит России, она же, повинуясь той же силе вещей, непременно будет стремиться к захвату всей Австрии по самый Триест включительно и, разумеется, включая Богемию, которую петербургский кабинет и не подумает оспаривать у нее.

Мы уверены и положительно знаем, что насчет более или менее отдельного деления Австрийской империи уже давно ведутся тайные переговоры между дворами петербургским и германским, причем, разумеется, как и всегда бывает в дружеских отношениях двух великих держав, всегда стараются надуть друг друга.

Как ни огромно могущество Пруссо-германской империи, ясно, однако, что она одна не довольно сильна, чтобы осуществить такие огромные предприятия против воли целой Европы. Поэтому союз России составляет и будет еще долго составлять насущную необходимость.

Существует ли такая необходимость для России?

Начнем с того, что наша империя более чем всякие другие есть государство по преимуществу не только военное, потому что для образования по возможности огромной военной силы она с самого первого дня своего основания жертвовала и теперь жертвует всем, что составляет жизнь, преуспевание народа. Но, как военное государство, она хочет иметь одну цель, одно дело, дающее смысл ее существованию, завоевание. Вне этой цели она просто нелепость. Итак, завоевания во все стороны и во что бы то ни стало вот вам нормальная жизнь нашей империи. Теперь вопрос, в какую сторону должна, захочет направиться эта завоевательная сила?

Два пути открываются перед нею: один западный, другой восточный. Западный направлен прямо против Германии. Это путь панславистский и вместе с тем путь союза с Францией против соединенных сил прусской Германии и Австрийской империи, при вероятном нейтралитете Англии и Соединенных Штатов.

Другой путь прямо ведет в восточную Индию, в Персию и в Константинополь. На нем встанут врагами Австрия, Англия и, вероятно, вместе с ними Франция, а союзниками прусская Германия и Соединенные Штаты. По которому из этих двух путей захочет пойти наша воинственная империя? Говорят, что наследник страстный панславист, ненавистник немцев, отъявленный друг французов и стоит за первый путь; но зато ныне благополучно царствующий император друг немцев, любящий племянник своего дяди и стоит за второй. Однако дело не в том, куда влекут чувства того или другого; вопрос в том, куда может идти империя с надеждою на успех и не подвергаясь опасности сломиться.

Может ли она идти первым путем? Правда, что на нем встречается союз с Францией, союз далеко не представляющий теперь тех выгод, той материальной и той нравственной силы, которую он обещал еще за три или четыре года тому назад. Национальное единство Франции рушилось безвозвратно. В пределах так называемой единой Франции существуют теперь три или, пожалуй, даже четыре различные и друг к другу решительно враждебно расположенные Франции: Франция аристократически-клерикальная, состоящая из дворян, из богатой буржуазии и из попов; Франция чисто буржуазная, обнимающая среднюю и мелкую буржуазию; и Франция рабочая, заключающая весь городской и фабричный пролетариат; и, наконец, Франция крестьянская. За исключением двух последних, которые могут сойтись и, например, на юге Франции уже начинают сходиться, между этими классами исчезла всякая возможность единодушия на каком бы то ни было пункте, даже когда дело идет об охране отечества.

Мы видели это на днях. Немцы еще стоят во Франции, занимают Бельфор в ожидании последнего миллиарда. Какие-нибудь три или четыре недели оставались до очищения ими страны. Нет, большинство версальской палаты, состоящее из легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, реакционерных до безумия, до бешенства, не захотело выждать этого срока свалило Тьера, посадило на его место маршала Мак-Магона, который силою штыков обещает восстановить нравственный порядок во Франции- Государственная Франция перестала быть страною жизни, ума, великодушных порывов. Она как будто вдруг переродилась и стала передовою страною грязи, подлости, продажничества, зверства, измены, пошлости, непроходимой и изумительной глупости. Надо всем же царит невежество, которому нет конца. Она обрекает себя папе, попам, инквизиции, иезуитам, Селестской Божией матери и святому Лавру. Она не на шутку ищет в католической церкви своего возрождения, в защите католических интересов свое назначение. Религиозные процессии покрыли страну и заглушают своими торжественными литаниями протесты и жалобы побежденного пролетариата. Депутаты, министры, префекты, генералы, профессора, судьи парадируют на них со свечами в руках, не краснея, без всякой веры в сердце, а потому только, *«что вера нужна для народа* . Впрочем, есть и целый сонм верующих дворян ультрамонтанцев и легитимистов, воспитанных иезуитами, которые громко требуют, чтобы Франция торжественно посвятила себя Христу и его непорочной матери. И в то самое время когда народное богатство или, вернее, народный труд, производитель всех богатств, отдан на разграбление биржевых спекулянтов, аферистов, богатых собственников и капиталистов, в то самое время как все государственные люди, министры, депутаты, чиновники всякого рода, гражданские и военные, адвокаты, а главным образом, все эти ханжи-иезуиты самым бессовестным образом набивают свои карманы, вся Франция действительно отдается на управление попов. Попы забрали в руки все просвещение, университеты, гимназии, народные школы; они стали вновь исповедниками и духовными путеводителями храброго французского воинства, которое скоро окончательно потеряет способность драться против внешних врагов, но зато сделается врагом тем более опасным для собственного народа.

Вот настоящее положение государственной Франции! Она в самое короткое время перещеголяла шварценберговскую Австрию (после 1849), а мы знаем, чем кончила эта Австрия поражением в Ис-пании, поражением в Богемии и всеобщим крушением.

Правда, Франция, несмотря даже на последнее разорение, богата, несомненно богаче Германии, извлекшей в промышленном и торговом отношении немного пользы от пяти миллиардов, уплоченных Франциею. Это богатство позволило французскому народу восстановить в очень короткое время все внешние признаки силы и правительственного устройства. Но не надо даже вглядываться глубоко, достаточно чуть-чуть приподнять лживо± блестящую поверхность, чтобы убедиться, как все внутри гнило, и гнило потому, что во всем этом еще громадном государственном теле не осталось даже искры живой души.

Государственная Франция безвозвратно кончается, и жестоко обманется тот, кто будет рассчитывать на ее союз. Кроме бессилия и страха, он в ней ничего не найдет; она посвящена папе, Христу, Божьей Матери, божественному разуму и человеческому бессмыслию. Она отдана на жертву ворам и попам; и если у нее еще осталась военная сила, то вся она пойдет на укрощение и усмирение своего собственного пролетариата. Какая же может быть польза от ее союза?

Но есть чрезвычайно важная причина, которая никогда не позволит нашему правительству, будь во главе его Александр II или Александр III, следовать по пути западного, или панславистического, завоевания. Это путь революционный, в том смысле, что ведет прямо к возмущению народов, по преимуществу славянских, против их *законных* государей, австрийского и пруссо-германского. Он был

предложен князем Паскевичем императору Николаю.

Положение Николая было опасное; он имел против себя две могущественнейшие державы, Англию и Францию. Благодарная Австрия грозила ему. Только одна обиженная им Пруссия оставалась верна, но и эта, уступая натиску трех государств, начинала колебаться и вместе с австрийским правительством делала ему внушительные представления. Николай, полагавший всю свою славу главным образом в том, чтобы отличаться непреклонностью, должен был или уступить, или умереть. Уступить было стыдно, а умереть, разумеется, не хотелось. И в эту критическую минуту ему было сделано предложение поднять панславистское знамя; мало того, надеть на свою императорскую корону фригийскую шапку и звать не только славян, но и мадьяр, румын, итальянцев[1] на бунт.

Император Николай призадумался, но, должно отдать ему справедливость, колебался не долго; он понял, что ему не следует кончать свое многолетнее поприще, ознаменованное чистейшим деспотизмом, на поприще революционном. Он предпочел умереть.

Он был прав. Нельзя было кичиться своим деспотизмом внутри и поднимать революцию вне своего государства. Особенно невозможно было это для императора Николая, так как на первом шагу, который он сделал бы по этому пути, он встретился бы лицом к лицу с Польшею. Возможно ли было звать славянские и другие народы к восстанию и продолжать душить Польшу! Но что же делать с Польшею? Освободить ее? Но, не говоря уже о том, как это было противно всем инстинктам императора Николая, нельзя не признать, что для всероссийской государственности освобождение Польши решительно невозможно.

Целые века длилась борьба между двумя формами государства. Вопрос шел о том, кто победит, шляхетская ли воля, или царский кнут. Собственно, о народе не было речи ни в том, ни в другом лагере; в обоих он был одинаково рабом, тружеником, кормильцем и немым пьедесталом государства. Казалось сначала, что должны победить поляки. На их стороне была образованность, военное искусство и храбрость, и так как войска их состояли по преимуществу из малой шляхты, они дрались как вольные люди, а русские как рабы. Все шансы казались на их стороне. И действительно, в продолжение очень долгого времени они выходили победителями из каждой войны, громили русские области и даже один раз покорили Москву и посадили на царский престол своего королевича.

Сила, выгнавшая их из Москвы, была не царская и даже не боярская, а народная. Пока народные массы не вмешивались в борьбу, полякам счастливилось. Но лишь только сам народ выступил действующим лицом на сцену один раз в 1612 г., другой раз в виде поголовного восстания малороссийского и литовского хлопства под предводительством Богдана Хмельницкого, счастье совершенно оставило их. С тех пор вольно-шляхетское государство стало чахнуть и падать, пока не погибло окончательно.

Русский кнут победил благодаря народу и вместе с тем, разумеется, в великий ущерб народу, который в знак истинной государственной благодарности был отдан в наследственное рабство царским холопам, дворянам-помещикам. Ныне царствующий император Александр II освободил, говорят, крестьян. Мы знаем, каково это освобождение.

А между тем именно на развалинах шляхетски-польского государства основалась всероссийская кнутовая империя. Лишите ее этой основы, отберите области, входившие до 1772 г. в состав польского государства, и всероссийская империя исчезнет.

Она исчезнет, потому что с потерей этих провинций, самых богатых, самых плодородных и самых населенных, богатство ее, и без того не чрезвычайное, и сила уменьшатся наполовину. За этой потерей не замедлит последовать потеря прибалтийского края, а предположив, что восстановляемое польское государство будет восстановлено не только на бумаге, а в действительности и заживет новою, сильною жизнью, империя очень скоро утратит всю Малороссию, которая сделается или польскою областью, или независимым государством, утратит поэтому также и свою черноморскую границу, будет отрезана со всех сторон от Европы и загнана в Азию.

Иные полагают, что империя может отдать Польше по крайней мере Литву. Нет, не может, по тем же самым причинам. Соединенные Литва и Польша послужили бы непременно и, можно сказать, с неотвратимою необходимостью польскому государственному патриотизму широкою точкою

---

[1] Мы слышали от самого Маццини, что в это самое время русские официозные агенты в Лондоне просили у него свидания и делали ему предложения.

отправления для завоевания прибалтийских провинций и Украины. Довольно освободить только Царство Польское, и того достаточно. Варшава тотчас сойдется с Вильно, с Гродно, с Минском, пожалуй, с Киевом, не говоря уже о Подоле и Волыни.

Как же быть? Поляки такой беспокойный народ, что им нельзя оставить ни одного местечка свободным; сейчас в нем законспирируют и поведут тайные связи со всеми забранными областями с целью восстановления польского государства. В 1841, например, оставался один вольный город Краков, и Краков сделался центром общепольского революционного предприятия.

Не ясно ли, что такая империя может продолжать свое существование только под условием душить Польшу по муравьевской системе. Мы говорим империя, а не народ русский, который, по нашему убеждению, не имеет ничего общего с империей, и интересы, а также и все инстинктивные стремления, которого абсолютно противуположны интересам и сознательным стремлениям империи.

Как скоро империя рушится и народы великорусский, малорусский, белорусский и другие восстановят свою свободу, для них не страшны будут честолюбивые замыслы польских государственных патриотов; они могут быть убийственны только для империи.

Вот почему никакой всероссийский император, если он только в своем уме и если его не заставит железная необходимость, никогда не согласится отпустить на волю ни малейшей части Польши. А не освободив поляков, может ли он призвать к бунту славян?

Причины, помешавшие ему поднять панславистически-бунтовское знамя, всецело существуют и теперь, с тою разницею, что тогда этот путь обещал более выгод, чем в настоящее время. Тогда можно было еще рассчитывать на восстание мадьяр, Италии, находившихся под ненавистным игом Австрии. Теперь Италия осталась бы без сомнения нейтральною, так как Австрия отдала бы ей, вероятно, без всяких споров, лишь бы от нее отделаться, те немногие остатки итальянской земли, которые она еще удерживает в своем владении. Что касается мадьяр, то можно сказать, наверное, что они со всею страстью, внушаемой им их собственным господствующим отношением к славянам, приняли бы сторону немцев против России.

Итак, в случае панславистической войны, которую русский император поднял бы против Германии, он мог бы рассчитывать на содействие более или менее деятельное только славян, и то только австрийских славян, потому что если бы ему вздумалось поднять и турецких, то он вызвал бы против себя нового врага, Англию, эту ревнивую защитницу самостоятельного существования оттоманского государства. Но в Австрии славян считается около 17 миллионов, за вычетом 5 миллионов жителей Галиции, где более или менее симпатизирующие русины были бы парализованы враждебными поляками, останется 12 миллионов, на восстание которых русский император мог бы, *может быть*, рассчитывать, исключая, разумеется, еще тех, которые завербованы в австрийское войско и которые по обычаю всякого войска стали бы драться против кого начальство прикажет.

Прибавим, что эти 12 миллионов даже не сосредоточены в одном или нескольких пунктах, а разбросаны по всему пространству Австрийской империи, говорят на совершенно разных наречиях и перемешаны то с немцами, то с мадьярами, то с румынами, то, наконец, с итальянскими населениями. Этого очень много, чтобы держать в постоянной тревоге австрийское правительство и вообще немцев, но слишком мало, чтобы доставить русским войскам серьезную опору против соединенных сил прусской Германии и Австрии.

Увы! русское правительство это знает и всегда очень хорошо понимало, и потому никогда не имело и не будет иметь намерения вести панславистическую войну против Австрии, которая необходимо превратилась бы в войну против целой Германии. Но если наше правительство такого намерения не имеет, зачем же оно ведет посредством своих агентов настоящую панславистическую пропаганду в австрийских владениях? По очень простой причине, по той самой, на которую сейчас указали, а именно потому, что русскому правительству очень приятно и полезно иметь такое множество горячих и вместе с тем слепых, чтобы не сказать глупых, приверженцев во всех австрийских областях. Это парализует, связывает, беспокоит австрийское правительство и усиливает влияние России не только на Австрию, но на целую Германию. Императорская Россия возбуждает австрийских славян против мадьяр и немцев, очень хорошо зная, что в конце концов предаст их в руки тех же мадьяр и немцев. Игра подлая, но зато вполне государственная.

Итак, союзников и действительной опоры на западе, в случае панславистической войны против немцев, всероссийская империя найдет немного. Посмотрим теперь, с кем ей придется бороться. Во-первых, со всеми немцами прусскими и австрийскими, во-вторых, с мадьярами, и, в-третьих, с поляками.

Оставляя в стороне поляков и даже мадьяр, спросим, способна ли императорская Россия вести наступательную войну против соединенных сил всей Германии, прусской и австрийской, или хотя даже одной прусской. Мы говорим, войну наступательную, потому что здесь предполагается, что предпримет ее Россия ввиду мнимого освобождения, собственно же, завоевания австрийских славян.

Прежде всего несомненно, что никакая наступательная война в России не будет войною национальною. Это почти общее правило; народы редко принимают живое участие в войнах, предпринимаемых и веденных их правительствами за пределами отечества. Такие войны бывают чаще всего исключительно политическими, если не примешивается интерес или религиозный, или революционный. Таковы были для немцев, французов, голландцев, англичан и даже для шведов в XVI веке войны между реформаторами и католиками. Таковы же были для Франции в конце XVIII века революционные войны. Но в новейшей истории мы знаем только два исключительные примера, когда народные массы относились с действительною симпатиею к политическим войнам, предпринятым их правительствами ввиду расширения пределов государства или ради других исключительно государственных интересов.

Первый пример был дан французским народом при НаполеонеI. Но он еще недостаточно доказателен, потому что императорские войска были непосредственным продолжением и как бы естественным результатом революционных войск, так что французский народ даже после падения Наполеона продолжал смотреть на них как на проявление того же самого революционного интереса.

Гораздо доказательнее второй пример, а именно пример горячего упоения, принятого, можно сказать, всем немецким народом в нелепой громадной войне, предпринятой вновь образовавшимся пруссо-германским государством против второй французской империи. Да, в эту знаменательную, едва прошедшую эпоху весь немецкий народ, все слои немецкого общества, за исключением разве только небольшой кучки работников, были проникнуты исключительно политическим интересом, интересом основания и расширения пределов пангерманского государства. И теперь еще этот интерес преобладает над всеми другими в уме и сердце всех немцев без различия сословий, и это-то составляет в настоящее время специальную силу Германии.

Для всякого сколько-нибудь знающего и понимающего Россию должно быть ясно, что никакая война наступательная, предпринятая нашим правительством, не будет национальною в России. Во-первых, потому, что наш на род не только чужд всякого государственного интереса, но даже инстинк-тивно противен ему. Государство это его тюрьма; какая же ему нужда укреплять свою тюрьму? Во-вторых, между правительством и народом нет никакой связи, ни одной живой нити, которая могла бы соединить их, хотя на одну минуту, в каком бы то ни было деле, нет даже способности, ни возможно-сти взаимного разумения; что для правительства бело, то для народа черно, и обратно, что народу ка-жется очень бело, что для него жизнь, раздолье, то для правительства смерть.

Спросят, может быть, с Пушкиным: «Иль русского царя уже бессильно слово?
Да, бессильно, когда оно требует от народа, что противно народу. Пусть он только мигнет и кликнет народу: вяжите и режьте помещиков, чиновников и купцов, заберите и разделите между со-бою их имущество одного мгновенья будет достаточно, чтобы встал весь русский народ и чтобы на другой день даже и следа купцов, чиновников и помещиков не осталось на русской земле. Но, пока он будет приказывать народу платить подати и давать солдат государству, а на пользу помещиков и купцов работать, народ будет повиноваться, нехотя, под палкою, как теперь, а когда сможет, то и не послушается. Где же тут магическое или чудотворное влияние царского слова?

И что же может царь сказать народу такого, что бы могло взволновать его сердце или разгорячить его воображение? В 1828, объявляя войну Оттоманской Порте под предлогом обид, претерпеваемых греческими и славянскими единоверцами нашими в Турции, император Николай попробовал было своим манифестом, прочитанным в церквах, расшевелить в нем религиозный фанатизм. Попытка оказалась вполне неудачною. Если где у нас существует страшная и упорная религиозность, то разве только в раскольниках, менее всех признающих и государство, и даже самого императора. В право-славной же и казенной церкви царствует мертвый, рутинный церемониал рядом с глубочайшим ин-дифферентизмом.

В начале крымской кампании, когда Англия и Франция объявили войну, Николай еще раз попы-тался возбудить религиозный фанатизм в народе, и столь же неудачно. Вспомним, что говорилось между народом во время этой войны: «француз требует, чтобы нас отпустили на волю. Были народ-ные ополчения. Но всем известно, как они были сформированы. Большею частью по царскому прика-

занию и по начальственному распоряжению. Это была тоже рекрутчина, только в другом виде и срочная. Во многих же местах крестьянам обещали, что по окончании войны их отпустят на волю.

Вот каков государственный интерес нашего крестьянства! В купечестве и дворянстве патриотизм выразился самым оригинальным образом: неумными речами, громкими верноподданническими заявлениями, а главное, обедами да попойками. Когда же надо было одним давать деньги, другим самолично идти на войну во главе своих мужиков, охотников оказалось очень немного. Всякий старался поставить за себя другого. Ополчение наделало много шуму, а пользы не принесло никакой. Но Крымская война была даже не наступательная, а оборонительная, значит, могла, должна была сделаться национальною, и почему же, однако, не сделалась? Потому, что наши высшие классы гнилы, пошлы, подлы, а народ естественный враг государства.

И этот-то народ надеются поднять во имя славянского вопроса! Есть между нашими славянофилами несколько честных людей, которые не на шутку верят, что русский народ горит нетерпением ле-теть на помощь «братьям славянам, про существование которых он даже не знает. Его чрезвычайно удивили бы, сказав ему, что он сам славянский народ. Г. Духинский с своими польскими и француз-скими последователями отрицает, конечно, чтобы славянская кровь текла в жилах великорусского народа, греша этим против исторической и этнографической истины. Но г. Духинский, так мало зна-ющий наш народ, вероятно, и не подозревает, что этот народ нисколько не заботится о своем славян-ском происхождении. До того ли ему, измученному, голодающему и раздавленному под гнетом мнимо славянской, в действительности же татаро-немецкой, империи.

Мы не должны обманывать славян. Те, которые говорят им о каком бы то ни было участии русского народа в славянском вопросе, или сами себя жестоко надувают, или бессовестным образом лгут и, разумеется, лгут с нечистыми целями. И если мы, русские социалисты± революционеры, зовем славянский пролетариат и славянскую молодежь на общее дело, то вовсе не предлагаем им как общую почву для дела наше общее более или менее славянское происхождение. Мы можем признать только одну почву: Социальную Революцию, вне которой мы не видим спасения ни для их народов, ни для нашего, и думаем, что именно на этой почве, вследствие многих одинаковых черт в характере, в исторической судьбе, в прошедших и настоящих стремлениях всех славянских народов, а также и вследствие их одинакового отношения к государственным поползновениям германского племени, они могут братски соединиться, не для того, чтобы создать общее государство, а для того, чтобы разрушить все государства, и не для того, чтобы составить между собою замкнутый мир, а для того, чтобы вместе вступить на всемирное поприще, начиная по необходимости с заключения тесного союза с народами латинского племени, которым, так же как и славянам, угрожает теперь завоевательная политика немцев.

Но и этот союз против немцев должен длиться, только пока немцы, познав собственным опытом, с какими бесчисленными бедами сопряжено собственно для народа существование государства даже мнимо народного, не сбросят с себя государственного ига и не откажутся навсегда от своей несчастной страсти к государственному преобладанию. Тогда и только тогда три главные племени, населяющие Европу, латинское, славянское и германское, организуются в союз свободно, как братья.

Но до тех пор союз славянских народов с народами латинскими против завоевания, грозящего им всем одинаково со стороны немцев, останется горькою необходимостью.

Странное назначение немецкого племени! Возбуждая против себя общие опасения и общую ненависть, они соединяют народы. Таким образом они соединили славян; ибо нет сомнения, что ненависть к немцам, глубоко укорененная в сердце всех славянских народов, гораздо более способствовала успехам панславистической пропаганды, чем все проповеди и интриги московских и петербургских агентов. Теперь же, вероятно, та же ненависть будет привлекать народ славянский к союзу с латинским.

В этом смысле и русский народ вполне славянский народ. Немцев он не любит; но обманывать себя не должно, нелюбовь его к немцам не простирается так далеко, чтобы он собственным движением отправился воевать против них. Она окажется лишь, когда немцы сами придут в Россию и вздумают хозяйничать в ней. Но глубоко ошибается тот, кто будет рассчитывать на какое-либо участие нашего народа в наступательном движении против Германии.

Отсюда следует, что, если наше правительство когда-либо вздумает предпринять какое-либо движение, оно должно будет совершить его без всякой помощи народной, одними лишь своими государственными, финансовыми и военными средствами. Но достаточно ли этих средств, чтобы бороться против Германии, мало того, чтобы с успехом вести против нее наступательную войну.

Надо быть чрезвычайно невежественным или слепым квасным патриотом, чтобы не признать, что все наши военные средства и наша пресловутая будто бы бесчисленная армия ничто в сравнении с настоящими средствами и с армией германской.

Русский солдат храбр несомненно, но ведь и немецкие солдаты не трусы; они это доказали в трех кампаниях сряду. Притом в предполагаемой наступательной со стороны России войне немецкие войска будут драться у себя дома и поддержанные патриотическим и на этот раз действительно поголовным восстанием решительно всех классов и всего населения Германии, поддержанные также своим собственным патриотическим фанатизмом, в то время как русские воины будут драться без смысла, без страсти, повинуясь только команде.

Что же касается сравнения русских офицеров с немецкими, то с точки зрения просто человеческой мы отдадим преимущество нашему офицерскому типу, не потому, что он наш, а на основании строгой справедливости. Несмотря на все старания нашего военного министра, г. Милютина, огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была прежде, грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной, ученье, кутеж, карты, пьянство и когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного, или батарейного командира, правиль-ное, чуть ли не узаконенное воровство составляют до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по-французски, но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять человеческое и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа.

В немецком офицерском мире нет ничего, кроме формы, военного регламента и отвратительной специально офицерской фанаберии, состоящей из двух элементов: из лакейского повиновения в отно-шении ко всему, что иерархически выше, и из дерзко± презрительного отношения ко всему, что, по их мнению, стоит ниже, к народу прежде всего, а потом и ко всему, что не носит военного мун-дира, за исключением самых высших гражданских чиновников и дворян.

В отношении своего государя, герцога, короля, а теперь к всегерманскому императору немецкий офицер раб по убеждению, по страсти. По мановению его он готов всегда и везде совершить самые ужасные злодеяния, сжечь, истребить и перерезать десятки, сотни городов и селений, не только чу-жих, но даже своих.

К народу он чувствует не только презрение, но ненависть, потому что, делая ему слишком много чести, предполагает его всегда бунтующим или же готовым взбунтоваться. Впрочем, не один он это предполагает; в настоящее время все привилегированные классы, а немецкий офицер, да и вообще всякий офицер правильного войска может быть назван привилегированною сторожевою собакою при-вилегированных классов. Весь мир эксплуататоров в Германии и вне Германии смотрит на народ со страхом и недоверием, которые, к несчастью, не всегда оправдываются, но которые тем не менее несомненно доказывают, что в народных массах уже начинает подыматься та сознательная сила, ко-торая разрушит этот мир.

Итак, у немецкого офицера, как у доброй сторожевой собаки, ус становится дыбом при одном воспоминании о народных толпах. Понятия его о правах и обязанностях народа самые патриархальные. По его мнению, народ должен работать, чтобы господа были одеты и сыты, повиноваться, не рас-суждая, властям, платить государственные подати и общинные повинности и, в свою очередь, испол-нять службу солдата, чистить ему сапоги, подавать лошадь, а когда он закомандует и замахает саблей, стрелять, колоть и рубить всякого встречного и поперечного и когда велят идти на смерть за кайзера и фатерланд. По истечении же срока действительной службы, если ранен и искалечен, жить милосты-нею, если же вышел цел и невредим, идти в резерв и служить в нем до самой смерти, всегда повинуясь властям, преклоняясь перед всяким начальством и быть готовым умереть по востребованию.

Всякое явление в народе, противоречащее этому идеалу, способно довести немецкого офицера до бешенства. Нетрудно себе представить, как он должен ненавидеть революционеров; а под этим об-щим названием он разумеет всех демократов и даже либералов, одним словом, всякого, кто в какой бы то ни было степени и форме осмеливается делать, хотеть, думать противное священной мысли и воле Его Императорского Величества Повелителя всех Германий-

Можно себе представить, с какою специальною ненавистью он должен относиться к революционерам-социалистам или хотя даже к социальным демократам своей родины. Одно воспоминание о них приводит его в бешенство, и он не считает приличным иначе о них говорить, как с пеною у рта. Беда тому из них, кто попадет к нему в руки, и, к несчастию, должно сказать, что в последнее время

много социальных демократов в Германии перешли через офицерские руки. Не имея права их истерзать или немедленно расстрелять, не смея давать воли рукам, он рядом самых оскорбительных мер, придирок, жестов, слов силится выместить свою бешеную, пошлую злобу. Но если бы ему позволили, если бы начальство приказало, с такою неистовою ревностью и, главное, с такою офицерскою гордостью он взял бы на себя роль мучителя, вешателя и палача.

А посмотрите на этого цивилизованного зверя, на этого лакея по убеждению и палача по призванию. Если он молод, вы вместо страшилища с удивлением увидите белокурого юношу, кровь с молоком и с легким пушком на рыльце, скромного, тихого и даже застенчивого, и гордого фанаберия сквозит, и непременно сентиментального. Он знает наизусть Шиллера и Гете и вся гуманистическая литература великого прошлого века прошла через его голову, не оставив в ней ни одной человеческой мысли и ни одного человеческого чувства в душе.

Немцам и по преимуществу немецким чиновникам и офицерам было предоставлено решить задачу, кажется, неразрешимую: соединить образование с варварством, ученость с лакейством. Это делает их в общественном отношении отвратительными и в то же время чрезвычайно смешными, в отношении к народным массам злодеями систематическими и беспощадными, но зато людьми драгоценными в отношении к государственной службе.

Немецкие бюргеры это знают и, зная это, патриотически переносят от них всевозможные оскорбления, потому что узнают в них свою собственную природу, а главное, потому что смотрят на этих народных и привилегированных императорских псов, так часто их от скуки кусающих, как на самый верный оплот пангерманского государства.

Для регулярной армии нельзя действительно представить себе ничего лучше немецкого офицера. Человек, соединяющий в себе ученость с хамством, а хамство с храбростью, строгую исполнительность с способностью инициативы, регулярность с зверством и зверство с своеобразною честностью, известную, правда, одностороннюю и даже худостороннюю экзальтацию с редким повиновением воле начальства; человек, всегда способный перерезать или перекрошить десятки, сотни, тысячи людей по малейшему знаку начальства, тихий, скромный, смирный, послушный, всегда навытяжку перед старшими и высокомерный, презрительно-холодный, а когда нужно и жестокий в отношении к солдату; человек, которого вся жизнь выражается в двух словах: слушаться и командовать такой человек незаменим для армии и для государства.

Что касается муштрования солдат, то это дело, одно из главных в организации хорошего войска, доведено в немецкой армии до систематического, глубоко обдуманного и практически испытанного и осуществленного совершенства. Главное начало, положенное в основание всей дисциплины, состоит в следующем афоризме, повторение которого мы не так давно еще слышали от многих прусских, саксонских, баварских и других немецких офицеров, со времен французской кампании, прогуливающихся целыми гурьбами по Швейцарии, вероятно, для изучения местности и снимки планов вперед пригодится, афоризм этот следующий:

«Чтоб овладеть душою солдата, надо прежде всего овладеть его телом.
Как же овладеть его телом? Посредством беспрерывного учения. Вы не думайте, чтобы немец-кие офицеры презирали шагистику, ничуть не бывало они видят в ней одно из лучших средств для того, чтобы выломать члены и для того, чтобы овладеть телом солдата, а потом ружейные приемы, уход за оружием, чистка мундиров; надо, чтобы солдат был с утра до вечера занят и чтобы он не пере-ставал чувствовать над собою и за каждым шагом своим строгое, холодно-магнетизирующее око начальства. Зимою, когда времени остается побольше, солдат гонят в школу, там их доучивают читать, писать, считать, но главное заставляют твердить наизусть военный устав, проникнутый боготворе-нием императора и презрением к народу: императору делать на караул, а в народ стрелять. Вот квинт-эссенция нравственно-политического учения солдат.

Проживя три, четыре года, пять лет в этом омуте, солдат не может иначе выйти из него, как уродом. Но и для офицеров то же самое, хотя и в другой форме. Из солдат хотят сделать палку бессознательную; офицер же должен быть палкою сознательною, палкою по убеждению, по мысли, по интересу, по страсти. Его мир офицерское общество; из него он ни шагу, и вся офицерская коллективность, проникнутая вышеописанным духом, смотрит за каждым. Беда несчастному, если, увлеченный неопытностью или каким-нибудь человеческим чувством, он позволит себе сдружиться с другим обществом. Если это общество в политическом отношении невинно, то над ним будут только смеяться. Но если оно имеет направление политическое, несогласное с общеофицерским направлением, либеральное, демократическое, не говорю уже о социально-революционном, тогда несчастный пропал.

Каждый товарищ сделается для него доносчиком.

Вообще высшее начальство предпочитает, чтобы офицерство бывало больше между собою, и старается оставить им, равно как и солдатам, как можно менее свободного времени. Муштрование солдат и беспрестанный надсмотр за ними уже забирает три четверти дня; остальная четверть должна быть посвящена усовершенствованию в военных науках. Офицер, прежде чем дослужиться до майорского чина, должен выдержать несколько экзаменов; кроме того, им задаются срочные работы по разным вопросам, и по этим работам судят о их способности к повышению.

Как видим, военный мир в Германии, впрочем, точно так же, как и во Франции, составляет совершенно замкнутый мир, и эта замкнутость есть верное ручательство в том, что этот мир будет врагом для народа.

Но немецкий военный мир имеет перед французским, да и перед всеми европейскими огромное преимущество: немецкие офицеры превосходят всех офицеров в мире положительностью и обширностью своих познаний, теоретическим и практическим знанием военного дела, горячею и вполне педантическою преданностью военному ремеслу, точностью, аккуратностью, выдержкою, упорным терпением, а также и относительною честностью.

Вследствие всех этих качеств организация и вооружение немецких армий существует действительно и не на бумаге только, как это было при Наполеоне III во Франции, как это бывает сплошь да рядом у нас. К тому же, благодаря все тем же немецким преимуществам, административный, гражданский и в особенности военный контроль устроен так, что продолжительный обман невозможен. У нас же, напротив, снизу доверху и сверху донизу рука руку моет, вследствие чего дознание истины становится почти невозможным.

Сообразите все это и спросите себя, возможно ли, чтобы русская армия могла надеяться на успех в наступательной войне против Германии? Вы скажете, что Россия может поставить миллион войска. Ну, хорошо организованного и вооруженного войска, пожалуй, не будет миллион; однако, положим, что есть миллион; половину надо будет оставить разбросанною по огромному пространству империи для соблюдения спокойствия в счастливом народе, который, того и гляди, от большого жира может взбеситься. Для одной Украины, Литвы и Польши сколько понадобится войска! Много, много, если вы будете в состоянии выслать против Германии пятисоттысячную армию. Такой армии Россия никогда еще не ставила.

Ну, а в Германии вас встретит действительно миллионная армия, по организации, по вымуштровке, по науке, по духу и по вооружению первая в мире. А за нею будет стоять громадным ополчением весь немецкий народ, который, может быть и даже вероятно, не встал бы против французов, если бы в последней войне победил не Фриц прусский, а Наполеон III, который, повторим еще раз, против русского вторжения встанет поголовно.

Скажете вы, что в случае нужды Россия, т. е. всероссийская империя, в состоянии поставить еще миллион войска; отчего же и не поставить, да только на бумаге. Стоит для этого только предписать указом новый рекрутский набор по столько-то с тысячи. Вот вам и ваш миллион. Да как его собрать? Кто будет его собирать? Ваши резервные генералы, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, командиры резервных и гарнизонных батальонов на бумаге, ваши губернаторы, чиновники. Боже мой, сколько же десятков, а пожалуй, и сотен тысяч уморят они с голоду, прежде чем их соберут. Да где вы, наконец, возьмете достаточное количество офицеров для организации нового миллионного войска и чем вооружите его? Палками? Ведь у вас нет достаточного количества денег для порядочного вооружения одного миллиона, а вы грозитесь вооружить другой миллион. Ни один банкир не даст вам взаймы; ну а если и даст, ведь на вооружение миллиона требуются года.

Сравним вашу бедность и вашу беспомощность с германским богатством и с германскою силою. Германия получила от Франции пять миллиардов, положим, что три миллиарда были потрачены на вознаграждение разных издержек, на вознаграждение принцев, государственных людей, генералов, полковников, офицеров, разумеется, не солдат, а также и на разные внутренние и заграничные поездки. Остаются два миллиарда, которые исключительно употреблены на вооружение Германии, на постройку новых или на укрепление старых бесчисленных крепостей, на заказ новых пушек, ружей и т. д. Да, вся Германия обратилась теперь в грозный, во все стороны щетинящийся арсенал. И вы, обученные и вооруженные кое-как, надеетесь ее победить.

При первом шаге, лишь только сунете нос на немецкую землю, вы будете самым страшным образом разбиты наголову, и ваша наступательная война тотчас же обратится в оборонительную; немецкие войска вступят в пределы всероссийской империи.

Но тогда, по крайней мере, возбудят ли они против себя всеобщее восстание русского народа? Да, если немцы вступят в русские области и пойдут, например, прямо в Москву; но если этой глупости не сделают, а пойдут севером на Петербург, через балтийские провинции, в которых найдут не только между мещанством, протестантскими пасторами и жидами, но и посреди недовольных баронов и их детей, студентов, а через их посредство и в наших бесчисленных остзейских генералах, офицерах, высших и низших чиновниках, наполняющих Петербург и разбросанных по всей России, много, много приятелей; мало того, они подымут против русской империи Польшу и Малороссию.

Правда, что из всех врагов, притеснителей Польши со дня ее разделения Пруссия оказалась самым назойливым, самым систематическим, а потому и самым опасным; Россия действовала, как варвар, как дикая сила, всех резала, вешала, мучила, ссылала в Сибирь и все-таки обрусить доставшейся ей части Польши не умела, да и до сих пор, несмотря на муравьевские рецепты, не умеет; Австрия, с своей стороны, также нисколько не онемечила Галиции, да и не старалась об этом. Пруссия как истый представитель германского духа и великого германского дела, насильственного и искусственного германизирования стран не немецких, сейчас приступила к онемечиванию во что бы то ни стало Данцигской области и Познанского герцогства, не говоря уже о кенигсбергском крае, доставшемся ей гораздо прежде.

Было бы слишком долго говорить о средствах, которые она употребила для достижения этой цели; между ними широкое колонизирование немецких крестьян на польской земле занимало огромное место. Полное освобождение крестьян в 1807 г. с правом выкупа земли и со всеми возможными облегчениями для совершения этого выкупа также много способствовало к популяризированию прусского правительства даже между польскими крестьянами. Потом основались сельские школы, и в них, и через них введен был немецкий язык. Вследствие подобных мер оказалось уже в 1848 г., что более трети Познанского герцогства совсем онемечилось. О городах же и говорить нечего. С самого начала польской истории в них говорилось по-немецки благодаря массе немецких бюргеров, ремесленников, а главное, жидов, получивших в них широкое гостеприимство. Известно, что с самых древних времен большинство городов в этой части Польши управлялось так называемым магдебургским правом.

Таким образом Пруссия достигала своей цели в мирное время. Когда же польский патриотизм подымал или силился поднять народное движение, она не останавливалась, разумеется, перед самыми решительными и варварскими мерами. Мы уже имели случай заметить, что в деле укрощения польских бунтов, не только в своих собственных пределах, но также и в Царстве Польском, Пруссия не переставала оказывать неизменную верность и самую горячую готовность на помощь русскому правительству. Прусские жандармы, что говорим, прусские благородные офицеры всякого оружия, гвардейские и армейские, с какою-то особенною страстью охотились на поляков, скрывавшихся в прусских владениях, ловили их и со злостною радостью выдавали русским жандармам, с выражением нередко надежды, что их в России повесят. В этом отношении Муравьев-вешатель не мог довольно нахвалиться Бисмарком.

До вступления в министерство князя Бисмарка Пруссия постоянно делала то же самое, но она делала это стыдливо, втихомолку и, когда было возможно, отпиралась от своих собственных действий. Князь Бисмарк первый сбросил маску. Он цинически, громко не только признался, но хвастался в прусском парламенте и перед европейскою дипломатией тем, что прусское правительство употребляло все свое влияние на правительство русское, чтобы уговорить его задушить Польшу до конца, не останавливаясь ни перед какими кровавыми мерами, и что в этом отношении Пруссия всегда будет оказывать самую деятельную помощь России.

Наконец, в настоящее время, еще недавно, князь Бисмарк прямо высказал в парламенте неизменное решение правительства искоренить остатки польской национальности в польских областях, наслаждающихся ныне пруссо-германским управлением. К несчастью, как мы это заметили выше, поляки познанские, точно так же, как и поляки галицийские, связали теперь, теснее чем когда-нибудь, свое польско-национальное дело с вопросом о преобладании папской власти. Их адвокатами стали иезуиты, ультрамонтанцы, монашеские ордена и епископы. Не поздоровится полякам от такого союза и от такой дружбы, как не поздоровилось в XVII веке. Но это не наше, а их, польское дело.

Мы упомянули обо всем этом для того только, чтобы показать, что у поляков нет врага опаснее и злее князя Бисмарка. Кажется, что он поставил задачею своей жизни стереть их с лица земли. И все-таки это не помешает ему позвать поляков к бунту против России, когда того потребуют интересы Германии. И, несмотря на то, что поляки ненавидят его и Пруссию, чтобы не сказать всю Германию, в этом поляки не хотели бы сознаться, хотя в глубине их души, не менее, чем у всех других славянских

народов, живет та же самая историческая ненависть против немцев, несмотря на то, что они не могут забыть кровных обид, вынесенных ими со стороны прусских немцев, поляки несомненно подымутся на зов Бисмарка.

В Германии и самой Пруссии уже очень давно существует многочисленная и серьезная политическая партия, даже три партии: либерально-прогрессивная, чисто демократическая и социально-демократическая, вместе составляющие несомненное большинство в парламентах германском и прусском и еще более решительное в самом обществе, партии, которые, предвидя и отчасти желая и как бы вызывая войну Германии против России, поняли, что восстание и восстановление Польши в известных пределах будет необходимым условием этой войны.

Разумеется, что ни князь Бисмарк и ни одна из этих партий никогда не согласятся возвратить Польше всех областей, забранных у нее Пруссиею. Не говоря уже о Кенигсберге, они ни за что в мире не отдадут ни Данцига, ни даже ни малейшего клочка западной Пруссии. Даже в Познанском герцогстве они отделят себе значительную часть, будто бы уже совсем онемеченную, и оставят полякам, в сущности, из всей части Польши, доставшейся на долю пруссакам, очень немного. За то, как отдадут им всю Галицию, со Львовом и с Краковом, так как все это принадлежит теперь Австрии, и отдадут им еще охотней столько земли далеко в глубь России, сколько у поляков станет сил захватить и удержать за собою. Вместе с тем она предложит полякам нужные деньги, разумеется, в виде польского займа за поручительством Германии, оружие и военную помощь.

Кто может сомневаться в том, что поляки не только согласятся, но с радостью ухватятся за немецкое предложение; их положение так отчаянно, что, если бы им сделали предложение во сто раз хуже, они бы его приняли.

Целый век прошел со времени разделения Польши, и в продолжение этих ста лет не прошло почти ни одного года, в который бы не была пролита мученическая кровь патриотов польских. Сто лет непрерывной борьбы, отчаянных бунтов! Есть ли другой народ, который мог бы похвастаться подобною доблестью?

Чего поляки не перепробовали? Шляхетские конспирации, мещанские заговоры, вооруженные банды, народное восстание, наконец, все ухищрения дипломатии и даже помощь церковную. Все они перепробовали, за все цеплялись и все порвалось, все изменило. Как же им отказаться, когда сама Германия, их опаснейший враг, предлагает им свою помощь на известных условиях?

Найдутся, пожалуй, славянофилы, которые упрекнут их за то в измене. В измене чему? Славянскому союзу, славянскому делу? А чем проявился этот союз, в чем состоит это дело? Не проявился ли он в поездке гг. Палацкого и Ригера в Москву на панславистическую выставку и на поклонение царю? Чем и когда, каким именно делом славяне как славяне выразили свою братскую симпатию полякам? Не тем ли, что те же самые гг. Палацкий и Ригер и вся их многочисленная свита западно± и югославянская в Варшаве лобызались с русскими генералами, еле-еле омывшимися от польской крови, пили за славянское братство и за здоровье царя-палача?

Поляки мученики и герои, у них в прошедшем великая слава; славяне же еще дети, и все значение их в будущем. Славянский мир, славянский вопрос это не действительность, а надежда, которая осуществиться может только посредством Социальной Революции; а к этой революции у поляков, говоря, разумеется, о патриотах, принадлежащих большею частью к образованному сословию и по преимуществу к шляхте, до сих пор выказывалось очень немного охоты.

Что же может быть общего между славянским миром, еще не существующим, и патриотически-польским миром, более или менее отжившим? И действительно, за исключением весьма немногих лиц, старающихся создать славянский вопрос в польском духе и на польской почве, поляки вообще нисколько не занимаются этим вопросом, им гораздо понятнее и ближе мадьяры, с которыми они имеют некоторое сходство и много общих исторических воспоминаний, от славян же южных и западных отделяют их главным и, можно сказать, решительным образом симпатии этих народов к России, т. е. к тому из врагов, которого они сами ненавидят более всех.

В Польше и в польской эмиграции, как и во всех странах, политический мир разделялся некогда на много политических партий. Была партия аристократическая, клерикальная и монархически-конституционная; была партия военной диктатуры; партия республиканцев умеренных, поклонников Соединенных Штатов; партия красных республиканцев по французскому образцу; наконец, даже немногочисленная партия демократов социальных, не говоря уже о мистически-сектаторских партиях или, вернее, церковных. В сущности, однако, стоило только проникнуть в каждую из них немного глубже,

чтобы убедиться, что основа у всех одна и та же: страстное стремление у всех к восстановлению польского государства в границах 1772 г. Помимо же взаимных противоречий, происходящих от взаимной борьбы начальников партий, главное различие их состояло в том, что каждая была уверена, что эта общая цель, восстановление старой Польши, может быть достигнута только на пути специально рекомендуемым ею.

До 1850 гможно сказать, что огромное большинство польской эмиграции революционное, именно потому, что большинство было уверено, что восстановление независимой Польши будет непременным результатом торжества революции в Европе. И что же, можно сказать, что в 1848 г. не было ни одного движения в целой Европе, в котором бы не участвовали и даже часто не предводительствовали поляки. Нам помнится, как один саксонский немец выразил на этот счет свое удивление: где только беспорядок, там непременно поляки!

В 1850 г. вследствие повсеместного поражения эта вера в революцию упала, поднялась наполеоновская звезда, и множество, множество польских эмигрантов, огромное большинство сделались отъявленными и страшными бонапартистами. Боже мой, чего не ждали и не надеялись они от помощи Наполеона III! Даже явная, гнусная измена его в 1862²63 г. не в силах была убить в них этой веры. Она окончилась только в Седане.

После этой катастрофы оставалось для польской надежды только одно убежище, иезуитско± ультрамонтанское. Австрийские и большинство польских патриотов ринулось в Галицию, ринулось туда с отчаяния. Но вообразите себе, что Бисмарк, их отъявленный враг, вынужденный положением Германии, позовет их на восстание против России; покажет им не отдаленную надежду, нет, даст им деньги, оружие и военную помощь. Возможно ли, чтобы они отказались от этого?

Правда, что взамен этой помощи от них потребуется формальное отречение от большей части старых польских земель, находящихся теперь во владении Пруссии. Это будет им очень горько, но вынужденные обстоятельствами и ввиду верного торжества над Россиею, утешая себя, наконец, мыслью, что лишь бы только восстановить Польшу, а потом они возвратят свое, они поднимут все несомненно и с своей точки зрения будут десять тысяч раз правы.

Правда, что Польша, восстановляемая с помощью немецкого войска, под покровительством князя Бисмарка, будет странною Польшею. Но лучше странная Польша, чем никакой; да наконец, потом, подумают непременно поляки, можно будет и освободиться от покровительства князя Бисмарка.

Одним словом, поляки на все согласятся, и Польша встанет, Литва встанет, а немного погодя и Малороссия встанет; польские патриоты, правда, плохие социалисты, и у себя дома они не станут заниматься революционно-социалистической пропагандой, а если бы и захотели, то покровитель, князь Бисмарк, не позволил бы слишком близко к Германии; чего доброго, такая пропаганда могла бы проникнуть и в прусскую Польшу. Но чего нельзя будет делать в Польше, то можно будет делать в России и против России. Чрезвычайно полезно будет и для немцев, и для поляков поднять в России крестьянский бунт, а поднять его будет, правда, не трудно, и подумайте, сколько поляков и немцев рассеяно теперь по России. Большинство, если не все, будут естественными союзниками Бисмарка и поляков. Вообразите, себе такое положение: войска наши, разбитые наголову, бегут; за ними вслед на севере к Петербургу идут немцы, а на западе и на юге, на Смоленск и на Малороссию, идут поляки и в то же самое время, возбужденный внешнею и внутреннею пропагандою, в России, в Малороссии всеобщий крестьянский, торжествующий бунт.

Вот почему можно сказать, наверное, что никакое правительство и что ни один русский царь, если он только не сумасшедший, не поднимет панславистического знамени и не пойдет никогда войною против Германии.

Поразив окончательно сначала Австрию, а потом Францию, новая и великая Германская империя низведет безвозвратно на степень второстепенных и от нее зависимых держав не только эти два государства, но позже и нашу всероссийскую империю, которую она навсегда отрезала от Европы. Мы говорим, разумеется, об империи, а не о русском народе, который, когда ему будет нужно, найдет или пробьет себе всюду дорогу.

Но для всероссийской империи ворота Европы отныне заперты; от этих ворот ключи же хранятся у князя Бисмарка, который ни за что в мире не даст их князю Горчакову.

Но если ворота северо-запада заперты для нее навсегда, не останутся ли открытыми, и, может быть, еще тем вернее и шире, ворота южные и юго-восточные: Бухара, Персия и Афганистан до самой восточной Индии и, наконец, последняя цель всех замыслов и стремлений, Константинополь? Уже давно русские политики, горячие ревнители величия и славы нашей любезной империи, обсуждают

вопрос, не лучше ли перенести столицу, а с ней вместе и средоточие всех сил, всей жизни империи с севера на юг, от суровых берегов моря Балтийского на вечно цветущие берега Черного и Средиземного морей, одним словом, из Петербурга в Константинополь.

Есть, правда, до того ненасытные патриоты, что они хотели бы сохранить Петербург и преобладание на Балтийском море и вместе овладеть Константинополем. Но это желание до того неосуществимо, что даже они, несмотря на всю веру во всемогущество всероссийской империи, начинают отказываться от надежды на его исполнение, к тому же за последний год случилось происшествие, которое должно было открыть им глаза. Это происшествие: присоединение Гольштейна, Шлезвига и Ганновера к Прусскому королевству, обратившемуся непосредственно через это в северную морскую державу.

Аксиома всем известная, что не может ни одно государство стать в числе первенствующих держав, если оно не имеет обширных морских границ, обеспечивающих непосредственное сообщение его с целым светом и позволяющих ему принять участие прямое в мировом движении, как материальном, так и общественном, политически-нравственном. Эта истина столь очевидна, что ее доказывать нечего. Предположим государство самое сильное, образованное и самое счастливое сколько в государстве общее счастье возможно и вообразим, что какие-нибудь обстоятельства уединили его от остального света. Можете быть уверены, что по прошествии каких-нибудь пятидесяти лет, двух поколений, все в нем придет в застой: сила ослабеет, образованность станет граничить с глупостью, ну а счастье будет издавать запах лимбурского сыра.

Посмотрите на Китай, кажется, был и умен, и учен, и, вероятно, также, по-своему, счастлив; отчего он сделался таким дряблым, что достаточно самых небольших усилий морским европейским державам для того, чтобы подчинить его своему уму и если не своему владычеству, то, по крайней мере, своей воле? Оттого, что в продолжение веков он оставался в застое, а оставался он в нем потому, что в продолжение этих веков он, благодаря отчасти своим внутренним учреждениям, отчасти же тому, что течение мировой жизни происходило так далеко от него, что долго не могло его коснуться.

Есть много разных условий, чтобы народ, замкнутый в государство, мог принять участие в мировом движении; сюда принадлежит природный ум и прирожденная энергия, образованность, способность к производительному труду и самая обширная внутренняя свобода, столь невозможная, впрочем, для масс в государстве. Но к этим условиям также принадлежит непременно морское плавание, морская торговля, потому что морские сообщения по своей относительной дешевизне, скорости, а также и свободе, в том смысле, что море никем не присвоено, превосходят все другие более известные, не исключая, разумеется, и железных дорог. Может быть, воздухоплавание когда-нибудь окажется еще более удобным во всех отношениях и будет особенно важно, так что оно окончательно уравняет условия развития и жизни для всех стран. Но до сих пор о нем говорить нельзя как о средстве серьезном, и мореплавание все-таки остается главным средством для преуспеяния народов.

Будет время, когда не будет более государств, а к разрушению их стремятся все усилия социально-революционерной партии в Европе, будет время, когда на развалинах политических государств оснуется совершенно свободно и организуясь снизу вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей, ну, тогда путь к морю будет равно открыт для всех; для береговых жителей непосредственно, а для живущих в отдалении от моря посредством железных дорог, освобожденных вполне от всяких государственных попечении, взимании, пошлин, ограничений, придирок, запрещений, позволений и применений. Но и тогда даже морские береговые жители будут иметь множество естественных преимуществ, не только материальных, но и умственно нравственных. Непосредственное прикосновение к мировому рынку и вообще к мировому движению жизни развивает чрезвычайно, и, как ни уравнивайте отношения, все-таки внутренние жители, лишенные этих преимуществ, будут жить и развиваться ленивее и медленнее прибрежных.

Вот почему так важно будет воздухоплавание. Воздушная атмосфера это океан, проникающий всюду, берег его везде, так что в отношении к нему все люди, даже живущие в самых отдаленных захолустьях, без исключения все прибрежные жители. Но до тех пор, пока воздухоплавание не заменит мореплавания, прибрежные жители останутся во всех отношениях передовыми и будут составлять род аристократии в человечестве.

Вся история, а главное большая часть прогресса в истории была сделана народами прибрежными. Первый народ, создатель всей цивилизации, греки и что же, можно сказать, что вся Греция не что иное, как берег. Древний Рим сделался государством могучим, мировым только с тех пор, как

сделался морским государством. А в новейшей истории, кому обязаны воскресением политической свободы, общественной жизни, торговли, искусств, науки, свободной мысли, одним словом, возрождением человечества? Италии, которая почти вся, как Греция, берег. После Италии кто унаследовал передовое место в мировом движении? Голландия, Англия, Франция и, наконец, Америка.

Посмотрим же, напротив, на Германию. Почему, несмотря на много несомненных качеств, которыми наделены ее народы, как, напр., чрезвычайное трудолюбие, способности к размышлению и к науке, эстетическое чувство, породившее великих артистов, художников и поэтов, и глубокомысленный трансцендентализм, породивший не менее великих философов, почему, спрашиваем мы, Германия отстала так далеко от Франции и от Англии во всех других отношениях, кроме одного, в котором опередила всех, в развитии бюрократического, полицейского и военного государственного порядка, почему в торговом отношении она стоит еще теперь ниже Голландии, а в индустриальном ниже Бельгии.

Скажут, потому что у ней никогда не было свободы, любви к свободе, ни требования свободы. Это будет отчасти справедливо, но это не единственная причина. Другая, столь же важная это отсутствие широкого прибрежья. Еще в XIII веке, именно в эпоху зарождения Ганзы, Германия не терпела недостатка в морском береге, по крайней мере, на западе. Голландия и Бельгия еще принадлежали к ней, а именно в этом столетии торговля Германии, казалось, обещала развитие довольно широкое. Но уже с XIV века нидерландские города, увлеченные своим предприимчивым и смелым духом и своею любовью к свободе, стали видимым образом отделяться от Германии и чуждаться ее. В XVI веке это отделение окончательно совершилось и великая империя, неуклюжая наследница Римской империи, оказалась государством почти совсем средиземным. Осталась у нее только узкая форточка в море между Голландией и Данией, далеко не достаточная для свободного дыхания такой огромной страны. Вследствие этого на Германию и напала сонливость, чрезвычайно похожая на китайский застой.

С тех пор все политическое передовое движение Германии, в смысле образования нового сильного государства, сосредоточилось в небольшом курфюрсте Бранденбургском. И в самом деле, бранденбургские курфюрсты постоянным стремлением своим овладеть берегами Балтийского моря оказали значительную услугу Германии, создали, можно сказать, условия ее настоящего величия, сначала овладели Кенигсбергом, а потом, в эпоху первого деления Польши, взяли Данциг. Но всего этого было недостаточно, надо было овладеть Килем и вообще всем Шлезвигом и Гольштейном.

Эти новые завоевания были сделаны Пруссиею при рукоплескании целой Германии. Мы все были свидетелями, с какою страстью немцы решительно всех отдельных государственных фатерландов, и северных, и южных, и западных, и восточных, и центральных, следили, с самого 1848 г. за развитием шлезвиг-гольштинского вопроса, и ошибались глубоко те, которые объясняли себе эту страсть в смысле участия к родным братьям, немцам, будто бы задыхающимся под датским деспотизмом. Тут был интерес совсем другой, интерес государственный, пангерманский, интерес завоевания морских границ и морских сообщений, интерес создания могучего немецкого флота. Вопрос о немецком флоте был уже поднят в 1840 или 41 г., и мы помним, с каким энтузиазмом было принято целою Германиею стихотворение Гервега: германский флот.

Немцы, повторяем мы еще раз, народ в высшей степени государственный, эта государственность преобладает в них над всеми другими страстями и решительно подавляет в них инстинкт свободы. Но она-то составляет именно в настоящее время их специальное величие; она служит и будет еще служить некоторое время неизменною и прямою подставкою для всех честолюбивых замыслов берлинского государя. На нее крепкой ногой опирается князь Бисмарк.

Немцы народ ученый и знают, что без прочных морских границ нет и не может быть великого государства. Вот почему они, наперекор исторической, этнографической и географической истине, утверждают еще теперь, что Триест был, есть и будет немецким городом, что весь Дунай река немецкая. Они рвутся к морю. И если не остановит их социальная революция, можно быть уверенным, что прежде, чем пройдут двадцать, десять лет, а может быть и еще менее, происшествия ныне идут так быстро друг за другом, можно быть уверенным, говорим мы, что в короткое время они завоюют всю немецкую Данию, всю немецкую Голландию, всю немецкую Бельгию. Все это лежит, так сказать, в натуральной логике их политического положения и их инстинктивных стремлений.

Один этап на этом пути уже пройден.

Пруссия, нынешнее олицетворение, голова и вместе руки Германии, крепко основалась на Бал-

тийском море, а вместе с тем и на Северном море. Независимость бременская, гамбургская, любекская, мекленбургская и ольденбургская пустая и невинная шутка. Все это вместе с Гольштейном, Шлезвигом и Ганновером вошло в состав Пруссии, и Пруссия, богатая французскими деньгами, строит два сильных флота: один на Балтике, другой на Северном море, и благодаря судоходному каналу, который ныне копают для соединения двух морей, эти два флота скоро составят один флот. И не много лет надо будет ждать для того, чтобы этот флот, превосходящий уже и датский, и шведский, сделался бы гораздо сильнее русского Балтийского флота. И тогда русское преобладание на море Балтийском канет в- Балтийское море. Прощай Рига, прощай Ревель, прощай Финляндия и прощай Петербург, вместе с своим неприступным Кронштадтом!

Все это для квасных патриотов, привыкших преувеличивать всероссийские силы, покажется бредом, злою сказкою, а между тем это не что иное, как совершенно верное заключение из осуществившихся уже фактов, на основании справедливой оценки характера и способностей немецких и русских, не говоря уже о денежных средствах, о сравнительном количестве добросовестных, преданных и знающих чиновников всякого рода и также не говоря о науке, которая дает решительный перевес всем немецким предприятиям перед русскими.

Немецкая государственная служба дает результаты некрасивые, неприятные, можно сказать, мерзкие, но зато положительные и серьезные.

Русская государственная служба дает результаты столь же неприятные и некрасивые, а по форме нередко еще более дикие и с этим вместе пустые. Возьмем пример: положим, что в одно и то же время в Германии и в России правительства назначили одну и ту же сумму, положим, миллион, на совершение какого-нибудь дела, хоть на постройку нового судна. Что же, вы думаете, в Германии украдут? Украдут, быть может, сто тысяч, положим, двести тысяч, зато уж восемьсот тысяч прямо пойдут на дело, которое совершится с тою аккуратностью и с тем знанием, которым отличаются немцы. Ну, а в России? В России прежде всего половину раскрадут, четверть пропадет вследствие нерадения и невежества, так что много-много, если на остальную четверть состряпают что-нибудь гнилое, годящееся напоказ, но для дела негодное.

Почему же русский флот способен устоять против немецкого, русские приморские укрепления, напр., Кронштадт, выдержать стрельбу немцев, умеющих бросать не только чугунные, но также и золотые снаряды?

Прощай господство на Балтийском море! Прощай все политическое значение и сила северной столицы, воздвигнутой Петром на финских болотах! Если наш маститый великий Канцлер князь Горчаков не совсем выжил из ума, он должен был сказать себе это в те дни, когда союзная Пруссия грабила безнаказанно и как бы с нашего согласия столь же нам союзную Данию. Он должен был понять, что с того дня, как Пруссия, опирающаяся теперь на всю Германию и составляющая в неразрывном единстве с последнею сильнейшую континентальную державу, с тех пор, одним словом, как новая Германская империя, создавшаяся под скипетром прусским, заняла на Балтийском море свое настоящее и для всех других прибалтийских держав столь грозное положение, преобладанию петербургской России на этом море был положен конец, уничтожено великое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и самое могущество всероссийского государства, если в вознаграждение утраты вольного морского пути на севере не откроется для него новый путь на юге.

Ясно, что на Балтийском море станут теперь господствовать немцы. Правда, что входы в него находятся еще в руках Дании. Но кто не видит, что этому бедному маленькому государству не остается уже теперь почти другого выбора, как сделаться сначала, пожалуй, вольно± федеративным, а вскоре потом и вполне быть поглощенным пангерманской государственной централизацией; а это значит, что Балтийское море в самое короткое время превратится в море исключительно немецкое и что Петербург должен будет утратить всякое политическое значение.

Князь Горчаков должен был знать это, когда соглашался на раздробление Датского королевства и на присоединение Гольштейна и Шлезвига к Пруссии. И силою самых происшествий мы приведены к следующей дилемме: или он изменил России, или взамен пожертвованного им преобладания всероссийского государства на северо-западе он обеспечился формальным обязательством князя Бисмарка содействовать России в завоевании нового могущества на юго-востоке.

Для нас существование такого акта, существование оборонительного и наступающего союза, заключенного между Россиею и Пруссиею чуть ли не сейчас же после парижского мира или, по крайней мере, во время польского восстания, в 1863, когда увлеченные примером Франции и Англии почти все

европейские державы, кроме Пруссии, громогласно и официально протестовали против всероссийского варварства; для нас, говорим мы, формальное и для обеих сторон равно обязательное согласие между Пруссиею и Россиею несомненно, только подобным союзом может быть объяснена та спокойная, можно сказать, беззаботная уверенность, с какою Бисмарк предпринял войну против Австрии и против большей части Германии с опасностью французского вмешательства и еще более решительную войну против Франции. Малейшей враждебной демонстрации со стороны России, напр., движения русских войск к прусской границе, было бы достаточно, чтобы остановить и в«той и в другой войне, особенно в последней, дальнейшие движения победоносного прусского воинства. Вспомним, что в конце последней войны вся Германия, по преимуществу же северная часть ее, была совершенно очищена от войск, что невмешательство Австрии в пользу Франции не имело другой причины, как объявление России, что если Австрия двинет свои войска, то она двинет против них свою армию, и что Италия и Англия только потому не вмешались, что этого не хотела Россия. Не заяви она себя таким решительным союзником пруссо-германского императора, немцы никогда бы не взяли Парижа. Но Бисмарк, видимо, был уверен, что Россия не изменит ему. На чем же была основана такая уверенность? Ужели на родственных связях и на личной дружбе двух императоров?

Но Бисмарк человек слишком умный и опытный, чтобы рассчитывать на чувства в политике. Положим даже, что наш император, одаренный, как всем известно, чувствительным сердцем и проливающий слезы чрезвычайно легко, мог увлечься подобными чувствами, не раз высказанными им в царских попойках; вокруг него целое правительство, двор, наследник, ненавидящий будто бы немцев и, наконец, наш маститый государственный патриот князь Горчаков, все вместе, общественное мнение и сама сила вещей напомнила бы ему, что государства руководствуются интересами, а не чувствами.

Не мог же Бисмарк рассчитывать на тождество интересов русских и прусских. Такого тождества нет, да и быть не может, оно существует только в одном пункте, а именно в польском вопросе. Ну да, этот вопрос давно уже порешен, а во всех других отношениях ничто не может быть так противно интересам всероссийского государства, как образование обок его огромной и могущественной всегерманской империи. Существование двух огромных империй друг подле друга влечет за собой войну, которая не может кончиться иначе, как разрушением или одной, или другой.

Война эта, повторяем мы, неизбежна, но она может быть отдалена, если обе империи сознают, что они еще недостаточно укрепились внутри, не довольно расширились для того, чтобы начать друг против друга войну решительную, борьбу на жизнь и на смерть. Тогда, хотя и ненавидя друг друга, они продолжают друг друга поддерживать, обменивать услуги между собою, причем каждая надеется, что она воспользуется лучше другой невольным союзом, приобретет больше силы и средств для буду-щей, неизбежной борьбы, таково именно взаимное положение России и прусской Германии.

Германская империя далеко еще не укрепилась ни внутри, ни снаружи. Внутри она представляет странное соединение многих самостоятельных, средних и маленьких государств, правда, обреченных на уничтожение, но еще не уничтоженных и стремящихся во что бы то ни стало спасти остатки своей, видимо, исчезающей самостоятельности. Снаружи хмурится против новой империи униженная, но не окончательно еще сраженная Австрия, побежденная и именно вследствие того непримиримая Франция. К тому же новогерманская империя далеко еще недостаточно округлила свои границы. Повинуясь внутренней необходимости, свойственной военным государствам, она задумывает новые приобретения, новые войны. Поставив себе целью восстановление средневековой империи в первобытных границах, и к этой цели влечет ее неуклонно патриотизм пангерманский, обуявший все немецкое общество, она мечтает о присоединении всей Австрии, кроме Венгрии, отнюдь не кроме Триеста, но кроме Богемии, всей немецкой Швейцарии, части Бельгии, всей Голландии и Дании, необходимых для основания ее морского могущества, планы гигантские, осуществление которых возбудит значи-тельную часть западной и южной Европы против нее, и которое поэтому без согласия России реши-тельно невозможно. Значит, для новогерманской империи еще необходим русский союз.

Всероссийская империя, с своей стороны, также не может обойтись без пруссо-германского союза. Отказавшись от всяких новых приобретений и расширений на северо-западе, она должна идти на юго-восток. Уступив Пруссии преобладание на Балтийском море, она должна завоевать и установить свое могущество на Черном море. Иначе она будет отрезана от Европы. Но для того, чтобы владычество ее на Черном море было действительно и полезно, она должна овладеть Константинополем, без которого не только вход в Средиземное море может быть возбранен ей во всякое время, но самый вход в Черное море будет всегда открыт для неприятельских флотов и армий, как это и было во время крымской кампании.

Значит, единая цель, к которой больше чем когда-нибудь стремится завоевательная политика нашего государства, Константинополь. Осуществлению этой цели противны интересы всей южной Европы, не исключая, разумеется, Франции, противны английские интересы, а также интересы Германии, так как безграничное владычество России на Черном море поставит все дунайское прибрежье в прямую зависимость от России.

И, несмотря на это, нельзя сомневаться в том, что Пруссия, вынужденная опираться на русский союз для исполнения своих завоевательных планов на западе, формально обязалась помогать России в ее юго-восточной политике, так же как нельзя сомневаться и в том, что она воспользуется первою возможностью для того, чтобы изменить обещанию.

Такого нарушения договора нельзя ожидать теперь, в самом начале исполнения его. Мы видели, какую горячую поддержку Пруссо-германская империя оказала империи всероссийской в вопросе об уничтожении условий парижского трактата, стеснительных для России, и нет сомнения, что она так же горячо продолжает ее поддерживать в хивинском вопросе. К тому же для немцев выгодно, чтобы русские удалились как можно глубже на восток.

Но что заставило русское правительство предпринять поход против Хивы? Нельзя же предполагать, чтобы оно предприняло его в защиту интересов русского купечества и русской торговли. Если бы это было так, то можно было бы спросить, почему оно не предпринимает таких же походов внутри России, против самого себя, как, напр., против московского генерал± губернатора и вообще против тех губернаторов и градоначальников, притесняющих и грабящих, как известно, самым наглым манером и всеми возможными способами и русскую торговлю, и русских купцов.

Какая же польза может быть для нашего государства в завоевании песчаной пустыни? Иные, пожалуй, готовы ответить, что правительство наше предприняло этот поход ради исполнения великого призвания России внести цивилизацию Запада на Восток. Но такое объяснение годится, пожалуй, для академических или официальных речей, а также и для доктринерных книг, брошюр и журналов, всегда наполненных возвышенным вздором и говорящих всегда противное тому, что делается и что есть; нас же оно удовлетворить не может. Вообразите себе петербургское правительство, руководимое в своих предприятиях и действиях сознанием цивилизаторского назначения России! Для человека, сколько-нибудь знакомого с природою и с побуждениями наших правителей, одного такого представления достаточно, чтобы уморить его со смеху.

Не станем говорить также об открытии новых торговых путей в Индию. Торговая политика это политика Англии, она никогда не была русскою. Русское государство по преимуществу и, можно ска-зать, исключительно военное государство. В нем все подчинено единому интересу могущества все-насилующей власти. Государь, государство вот главное; все же остальное народ, даже сословные интересы, процветание промышленности, торговли и так называемой цивилизации лишь средства для достижения этой единой цели. Без известной степени цивилизации, без промышленности и торговли никакое государство, и особливо новейшее, существовать не может, потому что так называемое богатство национальное, далеко не народное, а богатство привилегированных сословий, есть сила. В России оно все поглощается государством, которое, в свою очередь, становится кормильцем огром-ного государственного класса военного, гражданского и духовного. Казенное повсеместное воров-ство, казнокрадство и народообирание есть самое верное выражение русской государственной циви-лизации.

Поэтому нет ничего мудреного, что между другими и более главными причинами, побудившими русское правительство к предпринятию похода против Хивы, были также и так называемые торговые причины; надо было открыть для умножающегося официального люда, к которому мы причисляем и наше купечество, новое поприще, дать ему новые области на разграбление. Но значительное умножение богатства и силы для государства с этой стороны ждать нельзя. Напротив, можно быть уверенным, что в финансовом отношении предприятие представит гораздо более убытков, чем прибыли.

Зачем же пошли в Хиву? Для того ли, чтобы дать занятие войску? В продолжение многих десятков лет Кавказ служил военною школою, но теперь Кавказ умиротворен, поэтому надо было открыть новую школу; вот и задумали хивинскую кампанию. Такое объяснение также не выдерживает критики, даже если мы предположим, что русское правительство из рук вон неспособно и глупо. Опыт, приобретенный войсками нашими в хивинской пустыне, отнюдь не применим к войне против Запада, а с другой стороны, он слишком дорог, так что приобретенные выгоды далеко не могут сравниться с величиной затрат и издержек.

Но, может быть, русское правительство задумало не на шутку завоевание Индии? Мы не грешим

излишнею верою в мудрость наших петербургских правителей, но все-таки не можем допустить, чтобы оно задалось такою нелепою целью. Завоевать Индию! Для кого, зачем и какими средствами? Ведь для этого надобно было бы двинуть по крайней мере четверть, если не целую половину русского населения на восток, и почему именно завоевать Индию, до которой не иначе можно добраться, как покорив сперва воинственное и многочисленное племя Афганистана. Завоевать же Афганистан, вооруженный и отчасти даже дисциплинированный англичанами, было бы по крайней мере в три или четыре раза труднее, чем совладать с Хивою.

Уж если пошло на завоевание, почему бы не начать с Китая? Китай очень богат и во всех отношениях доступнее для нас, чем Индия, так как между ним и Россиею нет никого и ничего. Ступай и возьми, если можешь.

Да, пользуясь неурядицею и междуусобными войнами, ставшими хроническою болезнью Китая, можно было бы распространить очень далеко завоевание в этом крае, и кажется, что русское правительство затевает что-то в этом роде; оно силится явным образом отделить от него Монголию и Манчжурию; пожалуй, в один прекрасный день мы услышим, что русские войска совершили вторжение на западной границе Китая. Дело чрезвычайно опасное, ужасно напоминающее нам пресловутые победы древних римлян над германскими народами, победы, кончившиеся, как известно, разграблением и покорением Римской империи дикими германскими племенами.

В одном Китае считают одни четыреста, а другие около шестисот миллионов жителей, которым видимым образом становится тесно жить в границах империи и которые все большими массами переселяются теперь неотвратимым течением одни в Австралию, некоторые через Тихий океан в Калифорнию; другие массы могут двинуться, наконец, на север и на северо-запад. И тогда? Тогда в одно мгновение ока Сибирь, весь край, простирающийся от Татарского пролива до Уральских гор и до Каспийского моря, перестанет быть русским.

Подумайте, что в этом огромном крае, превосходящем объемом своим (12220000 квад ратных ки-лометров) более чем в двадцать раз объем Франции (528600 кв. км), считается до сих пор не более 6 миллионов жителей, из которых только около 2 600 000 русских, все же остальные туземцы, татар-ского или финского происхождения, а численность войска самая ничтожная. Будет ли какая возмож-ность остановить вторжение китайских масс, которые не только наводнят всю Сибирь, включая новые владения наши в Центральной Азии, но перевалят и через Урал, и к самой Волге.

Такова опасность, грозящая нам чуть ли не неизбежно со стороны Востока. Напрасно презирают китайские массы. Они грозны уже одним своим огромным количеством, грозны, потому что чрезмерное умножение делает почти невозможным их дальнейшее существование в границах Китая; грозны также и потому, что о них не должно судить по китайским купцам, с которыми купцы европейские ведут дела в Шанхае, в Кантоне или в Маймачине. Внутри Китая живут массы, гораздо менее изуродованные китайскою цивилизациею, несравненно более энергические, к тому же непременно воинственные, воспитанные в военных привычках нескончаемою междуусобною войною, в которой гибнут десятки и сотни тысяч людей. Надо заметить еще, что в последнее время они стали знакомиться с употреблением новейшего оружия и также с европейскою дисциплиною этим цветком и последним официальным словом государственной цивилизации Европы. Соедините только эту дисциплину и знакомство с новым оружием и с новою тактикою с первобытным варварством китайских масс, с отсутствием в них всякого понятия о человеческом протесте, всякого инстинкта свободы, с привычкою самого рабского повиновения, а они соединяются именно теперь, под влиянием множества военных авантюристов, американских и европейских, наводнивших Китай после последнего франко± английского похода в эту страну в 1860 году; да примите в соображение чудовищную огромность населения, принужденного искать себе выхода, и вы поймете, как велика опасность, грозящая нам со стороны Во-стока.

Вот с этою-то опасностью и играет наше русское правительство, невинное, как дитя. Подвигаемое нелепым стремлением расширения своих границ и не принимая в соображение того, что Россия так мало населена, так бедна и так беспомощна, что она до сих пор не в состоянии, да и никогда не сможет населить новоприобретенного Амурского края, в котором на пространстве 2100000 километров (почти в четыре раза более, чем Франция) считается вместе с войском и флотом всего только 65000 жителей. И при таком бессильи, при поголовной нищете всего русского народа, взятого вместе, доведенного отеческим управлением во всех отношениях до положения столь отчаянного, что ему не остается другого выхода и спасения, как только в самом разрушительном бунте, да, при таких условиях правительство русское надеется водворить свое могущество на всем азиатском Востоке.

Для того, чтобы идти далее, с самыми малыми задатками успеха, оно должно бы было не только повернуть спину Европе и отказаться от всякого вмешательства в дела европейские а этого князь Бисмарк только и желает теперь, оно должно бы было двинуть решительно всю свою военную силу в Сибирь и в Центральную Азию и идти на завоевание Востока, как Тамерлан со всем своим народом. Но за Тамерланом народ его шел, за русским же правительством русский народ не пойдет.

Возвращаемся к Индии. Как оно ни нелепо, русское правительство не может питать надежды на завоевание ее и на укрепление в ней своего могущества. Англия завоевала Индию прежде всего своими торговыми компаниями, у нас же таких компаний нет, а если они кое-где и существуют, так только карманные, для вида. Англия ведет свою громадную эксплуатацию Индии или свою насильственную торговлю с нею морем, посредством огромных флотов, купеческих и военных, у нас таких флотов нет, и вместо моря нас отделяет от Индии нескончаемая пустыня значит, не может быть и речи о завоевании в Индии.

Но если мы не можем завоевать, то мы можем разрушить или, по крайней мере, сильно поколебать в ней владычество Англии, возбуждая туземные бунты против нее и помогая этим бунтам, поддерживая их даже, когда это станет нужно, военным вмешательством.

Да, можем, хотя это и будет стоить нам, не богатым ни деньгами, ни людьми, огромных трат лю-дей и денег. Но зачем же мы понесем эти траты? Неужели для того только, чтобы доставить себе не-винное удовольствие напакостить англичанам без всякой пользы, а, напротив, с положительным ущер-бом для себя? Нет, потому, что англичане нам мешают. Где же они нам мешают? В *Константино-поле*. Пока Англия сохранит свою силу, она никогда и ни за что в мире не согласится, чтобы Констан-тинополь в наших руках стал снова столицею уже не одной только всероссийской, ни даже славян-ской, а восточной империи.

Так вот почему русское правительство предприняло войну в Хиве и почему оно вообще издавна стремится приблизиться к Индии. Оно ищет пункта, где бы можно нанести вред Англии и, не находя другого, грозит ей в Индии. Таким образом оно надеется помирить англичан с мыслью, что Констан-тинополь должен сделаться русским городом, принудить их согласиться на это завоевание, более чем когда-нибудь необходимое для государственной России.

Преобладание ее на море Балтийском утрачено безвозвратно. Не одному всероссийскому государству, сплоченному штыком да кнутом, ненавистному для всех народных масс, в нем заключенных и скованных начиная с народа великорусского, деморализованному, дезорганизованному и разоренному родным самодурствующим произволом, родною глупостью и родным воровством, не его военной силе, существующей больше на бумаге, чем в действительности и только для безоружных, да и то пока только у нас решимости не хватает, не ей бороться против страшного и великолепно организованного могущества вновь возникающей Германской империи. Значит, надо отказаться от Бал-тийского моря и ожидать того момента, когда вся прибалтийская область сделается немецкой провин-цией. Помешать этому может только народная революция. Ну, а такая революция для государства смерть, и не в ней будет наше правительство искать для себя спасения.

Ему не остается другого спасения, как только в союзе с Германиею, потому что принуждено отказаться в пользу немцев от Балтийского моря, оно должно теперь на Черном море искать новой почвы, новой основы для своего величия или просто даже для своего политического существования и смысла, но приобретать ее без позволения и помощи немцев оно не может.

Немцы обещали эту помощь. Да, как мы в этом уверены, они формальным договором, заключен-ным между князем Бисмарком и князем Горчаковым, обязались оказать ее российскому государству, но никогда не окажут ее, в этом мы также уверены. Не окажут, потому что не могут отдать на произ-вол России своего дунайского прибрежья и своей дунайской торговли; а также и потому, что не может быть в их интересах способствовать воздвижению нового русского могущества, великой панславян-ской империи на юге Европы. Это было бы просто нечто вроде самоубийства со стороны пангерман-ской империи. Вот направить и толкнуть русские войска в Центральную Азию, в Хиву, под предло-гом, что это самый прямой путь в Константинополь, это другое дело.

Нам кажется несомненным, что наш маститый государственный патриот и дипломат князь Горчаков и высочайший патрон его государь Александр Николаевич разыграли во всем этом плачевном деле самую глупую роль и что знаменитый немецкий патриот и государственный мошенник князь Бисмарк надул их чуть ли даже не ловчее, чем он надул Наполеона III.

Но дело сделано, его переменить невозможно. Новая Германская империя встала величавая

и грозная, смеясь над своими завистниками и врагами. Не русским дряблым силам свалить ее, это может сделать только одна революция, а до тех пор пока революция не восторжествовала в России или в Европе, будет торжествовать и всем повелевать государственная Германия, и русское государство, так же как и все континентальные государства в Европе, будут существовать отныне только с ее позволения и милости.

Это, разумеется, чрезвычайно обидно для всякого русского государственно-патриотического сердца, но грозный факт остается фактом; немцы более чем когда-нибудь стали нашими господами, и недаром все немцы в России так горячо и шумно праздновали победы германских войск во Франции, недаром так торжественно принимали своего нового пангерманского императора все петербургские немцы.

В настоящее время на целом континенте Европы осталось только одно истинно самостоятельное государство это Германия. Да, между всеми континентальными державами мы говорим, конечно, только о больших, так как само собою разумеется, что малые и средние обречены сначала на непре-менную зависимость, а в течение скорого времени и на гибель, между всеми первостепенными гос-ударствами только одна Германская империя представляет все условия полнейшей самостоятельно-сти, все же другие поставлены в зависимость от нее. И это не потому только, что она одержала в тече-ние последних годов блистательные победы над Даниею, над Австриею и над Франциею; что она овла-дела всем оружием последней и всеми военными запасами; что она заставила ее заплатить себе пять миллиардов; что она присоединением Эльзаса и Лотарингии заняла против нее в оборонительном, так же как и в наступательном отношении великолепную военную позицию; а также и не потому только, что германская армия численностью, вооружением, дисциплиною, организациею, точною ис-полнительностью и военною наукою не только своих офицеров, но также и своих унтер-офицеров и солдат, не говоря уже о неоспоримом сравнительном совершенстве своих штабов, превосходит ныне решительно все существующие армии в Европе, не потому только, что масса германского народона-селения состоит из людей грамотных, трудолюбивых, производительных, сравнительно весьма обра-зованных, чтобы не сказать ученых, к тому же смирных, послушных властям и закону, и что герман-ская администрация и бюрократия чуть ли не осуществили идеал, к достижению которого тщетно стремятся бюрократия и администрация всех других государств-

Все эти преимущества, разумеется, способствовали и способствуют изумительным успехам нового пангерманского государства, но не в них должно искать главную причину ее настоящей, всеподавляющей силы. Можно даже сказать, что они сами все не более как проявления общей и более глубокой причины, лежащей в основании всей германской общественной жизни. Эта причина *инстинкт общественности*, составляющий характеристическую черту немецкого народа.

Инстинкт этот разлагается на два элемента, по-видимому, противоположные, но всегда неразлучные; рабский инстинкт повиновения во что бы то ни стало, смирного и мудрого подчинения себя торжествующей силе под предлогом послушания так называемым законным властям; а в то же самое время господский инстинкт систематического подчинения себе всего, что слабее, командования, заво-евания и систематического притеснения. Оба эти инстинкта достигли значительной степени развития почти в каждом немецком человеке, исключая, разумеется, пролетариат, положение которого исклю-чает возможность удовлетворения по крайней мере второго инстинкта; и всегда не разделяя, дополняя и объясняя друг друга, оба лежат в основании патриотического немецкого общества.

О классическом послушании немцев всех чинов и разрядов властям гласит вся история Германии, а особливо новейшая, которая представляет непрерывный ряд подвигов покорности и терпенья. В немецком сердце выработалось веками истинное богопочитание государственной власти, богопочи-тание, которое создало постепенно бюрократическую теорию и практику и благодаря стараниям немецких ученых легло потом в основание всей политической науки, проповедуемой поныне в уни-верситетах Германии.

О завоевательных и притеснительных стремлениях германского племени, начиная от средневековых германских крестоносцев-рыцарей и баронов до последнего филистера± бюргера новейших времен, также громко гласит история.

И никто не испытал на себе так горько этих стремлений, как славянское племя. Можно сказать, что все историческое назначение немцев, по крайней мере на севере и на востоке, и, разумеется, по немецким понятиям, состояло и чуть ли еще не состоит и теперь именно в истреблении, в порабощении и в насильственном германизировании славянских племен.

Это длинная и печальная история, память о которой глубоко хранится в славянских сердцах и которая, без сомнения, отзовется в последней неизбежной борьбе славян против немцев, если социальная революция не помирит их прежде.

Для верной оценки завоевательных стремлений всего немецкого общества достаточно бросить беглый взгляд на развитие германского патриотизма с 1815 года.

Германия с 1525 года, эпохи кровавого усмирения крестьянского бунта, до второй половины XVIII века, эпохи литературного возрождения ее, оставалась погружена в сон непробудный, иногда прерываемый пушечным выстрелом и грозными сценами, и испытаниями беспощадной войны, которой она была большей частью театром и жертвою. Тогда она с ужасом пробуждалась, но скоро вновь опять засыпала, убаюканная лютеранскою проповедью.

В этот период времени, т. е. в продолжение почти двух с половиною столетий, выработался до конца, именно под влиянием этой проповеди, ее послушный и до истинного героизма рабски-терпеливый характер. В это время образовалась и вошла в целую жизнь, в плоть и кровь каждого немца система безусловного повиновения и благословения власти. Вместе с этим развилась наука административная и педантски систематическая, бесчеловечная и безличная бюрократическая практика. Всякий немецкий чиновник сделался жрецом государства, готовый заколоть не ножом, а канцелярским пером любимейшего сына на алтаре государственной службы. В то же самое время немецкое благородное дворянство, не способное ни к чему другому, кроме лакейской интриги и военной службы, предлагало свою придворную и дипломатическую бессовестность, и свою продажную шпагу лучше платящим европейским дворам; и немецкий бюргер, послушный до смерти, терпел, трудился, безропотно платил тяжелые подати, жил бедно и тесно и утешал себя мыслью о бессмертии души. Власть бесчисленных государей, разделявших между собою Германию, была безгранична. Профессора били друг друга по щекам и потом друг на друга доносили начальству. Студенчество, разделявшее свое время между мертвою наукою и пивом, было вполне их достойно. А о чернорабочем народе никто даже не говорил и не подумал.

Таково было положение Германии еще во второй половине XVIII века, когда каким-то чудом, вдруг, из этой бездонной пропасти пошлости и подлости возникла великолепная литература, созданная Лессингом и законченная Гете, Шиллером, Кантом, Фихте и Гегелем. Известно, что эта литература образовалась сначала под прямым влиянием великой французской литературы XVII и XVIII века, сначала классической, а потом философской; но она с первого же раза, в произведениях своего родоначальника Лессинга, приняла характер, содержание и формы совершенно самостоятельные, вытекшие, можно сказать, из самой глубины германской созерцательной жизни.

По нашему мнению, эта литература составляет самую большую и чуть ли не единственную заслугу новейшей Германии. Смелым и вместе широким захватом своим она двинула значительно вперед человеческий ум и открыла новые горизонты для мысли. Главное ее достоинство состоит в том, что, будучи, с одной стороны, вполне национальною, она была вместе с тем литературою в высшей степени гуманною, общечеловеческою, что, впрочем, составляет характеристическую черту вообще всей или почти всей европейской литературы XVIII века.

Но в то самое время, как, напр., французская литература в произведениях Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Дидро и других энциклопедистов стремилась перенесть все человеческие вопросы из области теории на практику, германская литература хранила целомудренно и строго свой отвлеченно теоретический и главным образом пантеистический характер. Это была литература гуманизма отвлеченно поэтического и метафизического, с высоты которого посвященные смотрели с презрением на жизнь действительную; с презрением, впрочем, вполне заслуженным, так как немецкая ежедневность была пошла и гадка.

Таким образом, немецкая жизнь разделилась между двумя противуположными и друг друга отрицающими, хоть и дополняющими сферами. Один мир высокой и широкой, но совершенно абстрактной гуманности; другой мир исторически наследственной, верноподданнической пошлости и подлости. В этом раздвоении застала Германию французская революция.

Известно, что эта революция была встречена весьма одобрительно, и, можно сказать, с положительною симпатиею почти всею литературною Германией. Гете немного поморщился и проворчал, что шум неслыханных происшествий помешал, прервал нить его ученых и артистических занятий и его поэтических созерцаний; но большая часть представителей или сторонников новейшей литературы, метафизики и науки приветствовала с радостью революцию, от которой ждала осуществления всех идеалов. Франкмасонство, игравшее еще очень серьезную роль в конце XVIII века и соединявшее

невидимым, но довольно действительным братством передовых людей всех стран Европы, установило живую связь между французскими революционерами и благородными мечтателями Германии. Когда республиканские войска после героического отпора, данного Брюнсвигу, обращенному в постыдное бегство, переступили в первый раз через Рейн, они были встречены немцами как избавители.

Это симпатическое отношение немцев к французам продолжалось недолго. Французские солдаты, как подобает французам, были, разумеется, очень любезны, и, как республиканцы, достойны всякой симпатии; но они были все-таки солдаты, т. е. бесцеремонные представители и слуги насилия. Присутствие таких освободителей скоро стало тягостно для немцев, и симпатия их охладилась значительно. К тому же сама революция приняла вслед за тем такой энергический характер, который уже никаким образом не мог совместиться с отвлеченными понятиями и с филистерски-созерцательными нравами немцев. Гейне рассказывает, что под конец в целой Германии только один кенигсбергский философ, Кант, сохранил свои симпатии к революции французской, несмотря на сентябрьскую резню, на казнь Людовика XVI и Марии Антуанетты и несмотря на робеспьеровский террор.

Потом республика заменилась сначала директорией, потом консульством и, наконец, империей; республиканские войска стали слепым и долго победоносным орудием наполеоновского честолюбия, гигантского до безумия, и в конце 1806 г., после Иенского сражения, Германия была порабощена окончательно.

С 1807 г. начинается ее новая жизнь. Кому неизвестна изумительная история быстрого возрождения Прусского королевства, а посредством его и целой Германии. В 1806 г. вся государственная сила, созданная Фридрихом II, его отцом и дедом, была разрушена. Армия, организованная и дисциплинированная великим полководцем, уничтожена. Вся Германия и вся Пруссия, исключая кенигсбергской окраины, была покорена французскими войсками и управлялась в действительности французскими префектами, а политическое существование Прусского королевства пощажено только благодаря просьбам Александра I, императора всероссийского.

В этом критическом положении нашлась группа людей, горячих прусских, или, даже более, германских патриотов, умных, смелых, решительных, которые, наученные уроками и примером французской революции, задумали спасение Пруссии и Германии посредством широких либеральных реформ. В другое время, например, перед Иенским сражением или, пожалуй, даже после 1815 г., когда вступила вновь во все свои права дворянско± бюрократическая реакция, они не поспели бы и подумать о таких реформах. Их задавила бы придворная и военная партия, и добродетельнейший и глупейший король Фридрих Вильгельм III, не знавший ничего, кроме своего безграничного богом постановленного права, засадил бы их в Шпандау, лишь только бы они осмелились пикнуть о них.

Но в 1807 г. положение было совсем иное. Военно-бюрократическая и аристократическая партия была уничтожена, осрамлена и унижена до такой степени, что потеряла голос, а король получил такой урок, от которого и дурак хоть на короткое время мог сделаться умным. Барон Штейн стал первым министром, и смелою рукою он начал ломку старого порядка и устройство новой организации в Пруссии.

Первым делом его было освобождение крестьян от прикрепления к земле не только с правом, но и с действительною возможностью приобретать землю в личную собственность. Вторым делом было уничтожение дворянских привилегий и уравнение всех сословий перед законом в военной и гражданской службе. Третьим делом устройство провинциальной и муниципальной администрации на основании выборного начала; главным же делом его было совершенное преобразование войска, вернее, обращение целого прусского народа в войско, разделенное на три категории: действующей армии, ландвера и штурмвера. В заключение всего барон Штейн открыл широкий вход и убежище в прусских университетах для всего, что было тогда умного, горячего, живого в Германии, и принял в Берлинский университет знаменитого Фихте, только что выгнанного из Иены герцогом Веймарским, другом и покровителем Гете, за то, что он проповедовал атеизм.

Фихте начал свои лекции пламенною речью, обращенною главным образом к германской молодежи, но публикованной впоследствии под названием «Речи к немецкой нации, в которой он очень хорошо и ясно предсказал будущее политическое величие Германии и высказал гордое патриотическое убеждение, что германской нации суждено быть высшим представителем, мало того, управителем и как бы венцом человечества; заблуждение, в которое впадали, правда, и прежде немцев другие народы, и с большим правом, например, древние греки, римляне, а в новейшее время французы, но которое, укоренившись глубоко в сознании всякого немца, приняло в настоящее время в Германии размеры чрезмерно уродливые и грубые. У Фихте, по крайней мере, оно носило характер действительно

героический. Фихте высказывал его под французским штыком, в то время как Берлин управлялся наполеоновским генералом, а на улицах раздавался французский барабан. К тому же миросозерцание, внесенное идеальным философом в патриотическую гордость, в самом деле дышало гуманностью, тою широкою, отчасти пантеистическою гуманностью, которою запечатлена великая германская литература XVIII века. Но современные немцы, сохранив всю громадность претензии своего философа-патриота, от гуманности его отказались. Они просто не понимают ее и готовы даже над нею смеяться как над выродком абстрактного, отнюдь не практичного мышления. Для них доступнее патриотизм князя Бисмарка или г. Маркса.

Все знают, как немцы, воспользовавшись совершенным поражением Наполеона в России, его несчастным отступлением или, вернее, бегством с кой-какими остатками армии, наконец сами встали; они, разумеется, чрезвычайно славят себя за восстание, и совершенно напрасно. Самостоятельного народного восстания, собственно, никогда не было; но когда разбитый Наполеон перестал быть опасным и страшным, немецкие корпуса, сначала прусский, а потом и австрийский, обратясь прежде против России, теперь обратились против Наполеона и присоединились к русскому победоносному войску, шедшему вслед за Наполеоном. Законный, но доселе несчастный прусский король Фридрих Вильгельм III со слезами умиления и благодарности обнял в Берлине своего избавителя императора всероссийского и вслед за тем издал прокламацию, призывавшую своих верноподданных к законному восстанию против незаконного и дерзкого Наполеона. Послушные голосу своего короля и отца, немецкие, по преимуществу же прусские юноши поднялись и составили легионы, которые были включены в регулярную армию. Не очень ошибся прусский тайный советник и известный шпион, официальный доносчик, когда в брошюре, возбудившей негодование всех патриотов, изданной в 1815 г., он, отрицая всякое самостоятельное действие народа в деле освобождения, сказал, «что прусские граждане взялись за оружие, только когда это им было приказано королем, и что тут не было ничего героического, ни чрезвычайного, а только простое исполнение обязанности всякого верноподданного.

Как бы то ни было, Германия была освобождена от французского ига и по совершенном окончании войны принялась за дело внутреннего преобразования под верховным руководством Австрии и Пруссии. Первым делом было медиатизированье множества маленьких владений, которые таким образом из независимых государств обратились в почетных и богато деньгами (насчет одного миллиарда, взятого у французов)вознагражденных подданных, осталось в Германии всего тридцать девять государств и государей.

Вторым делом было установление взаимных отношений государей с подданными.

В эпоху борьбы, когда над всеми висела еще шпага Наполеона и государи большие и маленькие нуждались в *верноподданнической* помощи своих народов, они надавали множество обещаний. Прусское правительство, а за ним и все другие обещали конституцию. Теперь же, когда беда миновала, правительства убедились в бесполезности конституции. Австрийское правительство, руководимое князем Меттернихом, прямо заявило решение возвратиться к старым патриархальным порядкам. Добрейший император Франц, пользовавшийся огромною популярностью между венскими бюргерами, прямо выразил это в аудиенции, данной им профессорам лайбахского лицея:

«Теперь мода на новые идеи, сказал он, я этого похвалить не могу и никогда не похвалю. Держитесь старых понятий, с ними наши предшественники были счастливы, почему же и нам не быть с ними также счастливыми? Мне не нужно ученых, а только честных и послушных граждан. Образование таковых вот ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен учить тому, что я приказываю. Кто не может или не хочет этого делать, тот пусть себе идет, иначе я его удалю.

Император Франц Иосиф сдержал слово. В Австрии до самого 1848 царствовал безграничный произвол. Самым строгим образом была проведена система управления, поставившая главною целью усыпление и оглупление подданных. Мысль спала и оставалась неподвижною в самых университетах. Вместо живой науки там проходили какие-то рутинные зады. Не было литературы, кроме доморощенных романов скандального содержания и весьма плохих стихов; естественные науки были на пятьдесят лет назад от их современного положения в остальной Европе. Политической жизни никакой не было. Земледелие, промышленность и торговля были поражены китайскою неподвижностью. Народ, чернорабочие массы находились в полнейшем порабощении. И если бы не Италия, а отчасти и Венгрия, тревожившие своими крамольными волнениями счастливый сон австрийских верноподданных, можно принять всю эту империю за огромное царство мертвых.

Опираясь на это царство, Меттерних в продолжение тридцати трех лет силился привести всю

Европу в такое же положение. Он сделался краеугольным камнем, душою, руководителем европейской реакции, и, разумеется, главною заботою его должно было быть уничтожение всяких либеральных поползновений в Германии.

Более всего его беспокоила Пруссия, государство новое, молодое, вступившее в ряд первостепенных держав только в конце последнего столетия, благодаря гению Фридриха II, благодаря Силезии, отнятой им у Австрии, а потом благодаря разделу Польши, благодаря смелому либерализму барона Штейна, Шарнгорста и других сподвижников прусского возрождения, и поэтому вставшего во главе общегерманского освобождения. Казалось, что все обстоятельства, события, недавно происшедшие, испытания, успех и победы и самый интерес Пруссии должны были побудить ее правительство идти смело по новому пути, оказавшемуся для нее столь счастливым и спасительным. Этого именно так страшно боялся и должен был бояться князь Меттерних.

Уже со времени Фридриха II, когда вся остальная Германия, дошедшая до самой крайней степени умственного и нравственного порабощения, была жертвою бесцеремонного, нахального и цинического управления, интриг и грабительства развратных дворов, в Пруссии был осуществлен идеал порядочной, честной и по возможности справедливой администрации. Там был только один деспот, правда, неумолимый, ужасный государственный разум или логика государственной пользы, которой решительно все приносилось в жертву и перед которою должно было преклоняться всякое право. Но зато там было гораздо менее личного, развратного произвола, чем во всех других немецких государствах. Прусский подданный был рабом государства, олицетворившегося в особе короля, но не игрушкою его двора, любовниц или временщиков, как в остальной Германии. Поэтому уже тогда вся Германия смотрела на Пруссию с особенным уважением.

Это уважение увеличилось чрезвычайно и обратилось в положительную симпатию после 1807 г., когда прусское государство, доведенное почти до совершенного уничтожения, стало искать своего спасения и спасения Германии в либеральных реформах и когда после целого ряда счастливых преобразований прусский король позвал не только свой народ, но всю Германию к восстанию против французского завоевателя, причем он обещал по окончании войны дать своим самую широкую либеральную конституцию. Даже был назначен срок, когда это обещание должно было исполниться, а именно 1 сентября 1815. Это торжественное королевское обещание было обнародовано 22 мая 1815 после возвращения Наполеона с о-ва Эльбы и перед ватерлооским сражением и было только повторением коллективного обещания, данного всеми европейскими государями, собранными на конгрессе в Вене, когда известие о высадке Наполеона поразило их всех паническим страхом. Оно было внесено как один из существеннейших пунктов в акты только что созданного *Ѣерманского союза*.

Некоторые из небольших владетелей Средней и Южной Германии довольно честно сдержали свое обещание. В Северной же Германии, где преобладал решительно военно± бюрократический дворянский элемент, сохранилось старое аристократическое устройство, прямо и сильно покровительствуемое Австриею.

От 1815 до мая 1819 вся Германия надеялась, что в противоположность Австрии, Пруссия примет под свое могучее покровительство общее стремление к либеральным реформам. Все обстоятельства и очевидный интерес прусского правительства, казалось, должны были склонить ее в эту сторону. Не говоря уже о торжественном обещании короля Фридриха Вильгельма III, обнародованном в мае 1815, все испытания, пережитые Пруссиею от 1807 ее изумительное восстановление, которым она была главным образом обязана либерализму своего правительства, должны были укрепить его в этом направлении. Наконец, было соображение еще более важное, которое должно было побудить прусское правительство заявить себя откровенным и решительным покровителем либеральных реформ. Это историческое соперничество юной прусской монархии с древнею Австрийскою империей.

Кто станет во главе Германии Австрия или Пруссия? Таков вопрос, поставленный предыдущими событиями и силою логики их обоюдного положения. Германия, как раба, привыкшая к послушанию, не умеющая и не желающая жить свободно, искала себе господина могущественного, верховного повелителя, которому бы она могла вполне отдаться и который, соединив ее в одно нераздельное государственное тело, дал бы ей почетное положение между сильнейшими державами Европы. Таким господином мог быть или австрийский император, или прусский король. Оба вместе не могли занять этого места, не парализируя друг друга и не обрекая тем самым Германию на прежнюю беспомощность и на бессилие. Австрия должна была естественным образом тянуть Германию назад. Она не могла действовать иначе. Отжившая и дошедшая уже до той степени старческого расслабления, ко-гда всякое движение становится смертельным, а неподвижность необходимым условием поддержки

дряхлого существования, она, ради спасения самой себя, должна была защищать то же начало неподвижности не только в Германии, но в целой Европе. Всякое проявление народной жизни, всякое стремление вперед в каком бы то ни было угле европейского континента было для нее оскорблением, угрозой. Умирая, она хотела, чтобы все вместе с нею умерло. В политической же жизни, так же как и во всякой другой, идти назад или только оставаться на одном месте значит умирать. Понятно поэтому, что Австрия употребила свои последние и в материальном отношении еще громадные силы, чтобы подавить безжалостно и неуклонно всякое движение в Европе вообще и в Германии в особенности.

Но именно потому, что такова была необходимая политика Австрии, политика Пруссии должна была быть совершенно противоположною. После наполеоновских войн, после Венского конгресса, округлившего ее значительно в ущерб Саксонии, от которой она отобрала целую провинцию, особенно после роковой битвы при Ватерлоо, выигранной соединенными армиями, прусскою под предводительством Блюхера и английскою под предводительством Веллингтона, после торжественного второго вступления прусских войск в Париж Пруссия заняла пятое место между первостепенными державами Европы. Но в отношении действительных сил, государственного богатства, числа ее жителей и даже географического положения она еще далеко не могла сравняться с ними. Штетина, Данцига и Кенигсберга на Балтийском море было слишком недостаточно для образования не только сильного военного флота, но даже значительного торгового. Уродливо растянутая и отделенная от вновь приобретенной Прирейнской провинции чужими владениями, Пруссия представляла в военном отношении чрезвычайно неудобные границы, делающие нападения на нее со стороны Южной Германии, Ганновера, Голландии, Бельгии и Франции очень легкими, а защиту весьма трудною. Наконец, число ее жителей в 1815 еле-еле доходило до 15 миллионов.

Несмотря на такую материальную слабость, еще гораздо большую при Фридрихе II, административному и военному гению великого короля удалось создать политическое значение и военную силу Пруссии. Но создание его было обращено в прах Наполеоном. После Иенского сражения надо было все создавать вновь, и мы видели, что единственно только рядом самых смелых и самых либеральных реформ просвещенные и умные государственные патриоты сумели возвратить Пруссии не только прежнее значение и прежнюю силу, но и значительно их увеличить. И действительно, они увеличили их до такой степени, что Пруссия могла занять не последнее место между великими державами, но недостаточно, однако, чтобы она могла долго удержаться на нем, если бы она не продолжала неуклонно стремиться к увеличению своего политического значения, нравственного влияния, а также к округлению и расширению своих границ.

Для достижения таких результатов перед Пруссией открывались два различные пути. Один, по крайней мере с виду, более народный, другой чисто государственный и военный. Следуя первому пути, Пруссия смело должна была бы встать во главе конституционного движения Германии. Король Фридрих Вильгельм III, следуя великому примеру знаменитого Вильгельма Оранского (1688 г.), должен был бы написать на своем знамени: «За протестантскую веру и за свободу Германии и таким образом явиться открытым бойцом против австрийского католицизма и деспотизма. На втором же пути, нарушив свое торжественное королевское слово и отказавшись решительно от всяких дальнейших либеральных реформ в Пруссии, он должен был встать столь же открыто на сторону реакции в Германии и вместе с тем сосредоточить все внимание и все усилия на усовершенствования внутренней администрации и войска ввиду будущих возможных завоеваний.

Был еще третий путь, открытый, правда, очень давно, именно еще римскими императорами. Августом и его преемниками, но после них давно затерянный и вновь открытый лишь в последнее время Наполеоном III и вполне очищенный и улучшенный учеником его, князем Бисмарком. Это путь государственного, военного и политического деспотизма, замаскированного и украшенного самыми широкими и вместе с тем самыми невинными народно-представительными формами.

Но в 1815 году этот путь был еще вполне неизвестен. Тогда никто и не подозревал истины, ставшей ныне известною даже самым глупым деспотам, что так называемые конституционные или народно-представительные формы не мешают государственному, военному, политическому и финансовому деспотизму, но, как бы узаконяя его и давая ему ложный вид народного управления, могут значительно увеличить его внутреннюю крепость и силу.

Тогда этого не знали, да и не могли знать, потому что совершенный разрыв между эксплуатирующим классом и между эксплуатируемым пролетариатом далеко еще не был так ясен ни для буржуазии, ни для самого пролетариата, как в настоящее время. Тогда все правительства, да и сами буржуа,

думали, что за буржуазиею стоит сам народ и что ей стоит только пошевелиться, дать знак, чтобы весь народ встал бы вместе с нею против правительства. Теперь совсем другое дело: буржуазия во всех странах Европы пуще всего боится социальной революции и знает, что против этой грозы ей нет другого убежища, как государство, и потому она всегда хочет и требует возможно сильного государства, или, говоря просто, военной диктатуры; а для того чтобы спасти свое тщеславие, а также и для того чтобы легче обмануть народные массы, она желает, чтобы эта диктатура была облечена в народно± представительные формы, которые бы ей позволили эксплуатировать народные массы во имя самого народа.

Но в 1815 году ни этого страха, ни этой ухищренной политики еще не существовало ни в одном из государств Европы. Напротив, буржуазия была везде искренно и наивно либеральна. Она еще верила, что, работая для себя, она работает для всех, и потому не боялась народа, не боялась возбуждать его против правительства, а вследствие чего и все правительства, опираясь, сколько было возможно, на дворянство, относились к буржуазии как к революционерному классу, враждебно.

Нет сомненья, что в 1815 году, как и гораздо позже, было бы достаточно малейшего либерального заявления со стороны Пруссии, достаточно было бы, чтобы прусский король дал тень буржуазной конституции своим подданным, для того чтобы вся Германия признала его своею главою. Тогда еще не успело образоваться в немцах непрусской Германии той сильной нелюбви к Пруссии, которая проявилась гораздо позже и особенно в 1848 году. Напротив, все немецкие страны смотрели на нее с упованием, ожидая именно от нее освободительного слова, и достаточно было бы половины тех *либеральных и народно-представительных учреждений*, которыми прусское правительство в последнее время без всякого, впрочем, ущерба для деспотической власти так щедро наделило не только прусских, но даже и всех непрусских немцев, исключая австрийских, для того чтобы, по крайней мере, вся неавстрийская Германия признала прусскую гегемонию.

Этого именно чрезвычайно боялась Австрия, потому что этого было бы достаточно, чтобы поставить ее уже тогда в то несчастное и безвыходное положение, в котором она находится теперь. Утратив первое место в Германском союзе, она сама перестала быть державою немецкою. Мы видели, что немцы составляют лишь четвертую часть всего населения Австрийской империи. Пока немецкие области, а также и некоторые славянские области Австрии, как, напр., Богемия, Моравия, Силезия, Штирия, взятые вместе, были одним из членов Германского союза, то австрийские немцы, опираясь на всех остальных многочисленных жителей Германии, могли до некоторой степени смотреть на всю империю как на немецкую. Но лишь только совершилось бы отделение империи от Германского союза, как оно совершилось в настоящее время, то девятимиллионное, а тогда еще меньшее, немецкое население ее оказалось бы слишком слабым, для того чтобы сохранить в ней свое историческое преобладание; и австрийским немцам ничего более не оставалось бы, как отрешиться от подданства габсбургскому дому и соединиться с остальною Германиею. К этому именно одни сознательно, другие бессознательно стремятся теперь, и это стремление обрекает Австрийскую империю на весьма близкую смерть.

Лишь только бы утвердилась в Германии прусская гегемония, австрийское правительство принуждено было бы исторгнуть свои немецкие области из общего состава Германии, во± первых, потому что, оставив их в Германском союзе, оно фактически подчинило бы их, а через них и себя верховному владычеству короля прусского; и, во-вторых, потому что в таком случае Австрийская империя разделилась бы на две части, на немецкую, признающую прусскую гегемонию, и на всю остальную часть, не признающую ее, что было бы также гибелью для империи.

Было, правда, другое средство, которое хотел испытать в 1850 году князь Шварценберг, но которое ему не удалось, да и не могло бы удаться, а именно: включить целиком, как нераздельное государство, всю империю с Венгриею, с Трансильванией и со всеми ее славянскими и итальянскими провинциями в состав Германского союза. Эта попытка не могла удаться, потому что ей воспротивилась бы отчаянно Пруссия, а вместе с Пруссией и большая часть Германии, воспротивилась бы также, как они это и сделали в 1850 году, и все другие великие державы, особенно же Россия и Франция, и, наконец, возмутились бы три четверти австрийского, германоненавистного населения славяне, мадьяры, румыны, итальянцы, для которых одна мысль, что они могли бы стать немцами, кажется позором.

Пруссия и вся Германия были бы, естественно, противны попытке, осуществление которой уничтожило бы первую и лишило бы ее специально немецкого характера; последняя же, Германия, перестала бы быть отечеством немцев и превратилась бы в какой-то хаотический и насильственный сбор самых разнообразных народностей. Россия же и Франция не согласились бы потому, что Австрия,

подчинившая себе всю Германию, стала бы вдруг самою могущественною державою на континенте Европы.

Оставалось поэтому Австрии одно не душить Германию своим всецелым вступлением в нее, но вместе с тем и не позволить Пруссии стать во главе Германского союза. Следуя такой политике, она могла рассчитывать на деятельную помощь Франции и России. Политика же последней до самого последнего времени, т. е. до Крымской войны, состояла именно в систематическом поддержании взаимного соперничества между Австрией и Пруссией, так чтобы ни одна из них не могла одержать верх над другой, и в то же самое время в возбуждении недоверия и страха в маленьких и средних государствах Германии и в покровительстве им против Австрии и Пруссии.

Но так как влияние Пруссии на остальную Германию было главным образом нравственного свойства, так как оно было основано больше всего на ожидании, что вот скоро прусское правительство, давшее еще недавно так много доказательств своего патриотического и просвещенно-либерального направления, и теперь, верное своему обещанию, дает конституцию своим подданным и тем самым станет во главе передового движения в целой Германии, то главная забота князя Меттерниха должна была устремиться на то, чтобы прусский король не давал своим подданным конституции и чтобы он вместе с императором австрийским стал во главе реакционного движения в Германии. В этом стремлении он также нашел самую горячую поддержку и во Франции, управляемой Бурбонами, и в императоре Александре, управляемом Аракчеевым.

Князь Меттерних нашел столь же горячую поддержку и в самой Пруссии, за весьма малым исключением во всем прусском дворянстве и в высшей бюрократии, военной и гражданской, да наконец, и в самом короле.

Король Фридрих Вильгельм III был очень добрый человек, но король, т. е., как следует быть королю, деспот по природе, по своему воспитанию и по привычке. К тому же он был набожный и верующий сын евангелической церкви, а первый догмат этой церкви гласит, что «всякая власть от Бога. Он не на шутку верил в свое богопомазание, в свое право или даже, вернее, в свой долг приказывать и в обязанность каждого подданного слушаться и исполнять без всяких рассуждений. Такое направление ума не могло согласиться с либерализмом. Правда, что в эпоху беды государственной он надавал множество самых либеральных обещаний своим верным подданным. Но он это сделал, повинуясь государственной необходимости, перед которой, как перед высшим законом, обязан преклоняться даже сам государь. Теперь же беда миновала, значит, и обещание, исполнение которого было бы вредно для самого народа, держать было не надо.

Очень хорошо объяснил это в современной проповеди архиепископ Эйлерт: «Король, говорит он, поступал как умный отец. В день своего рождения или выздоровления, тронутый любовью своих детей, он им делал разные обещания; потом с должным спокойствием видоизменял их и восстановлял свою натуральную и спасительную власть. Вокруг его весь двор, весь генералитет и вся высшая бю-рократия были проникнуты этим же духом. В эпоху беды, вызванной ими на Пруссию, они притихли, молча сносили неотразимые реформы барона Штейна и его главных сподвижников. Теперь же по про-шествии беды они заинтриговали и зашумели пуще прежнего.

Они были искренними реакционерами, не менее короля, пожалуй, даже больше, чем сам король. Общегерманского патриотизма они не только что не понимали, но ненавидели от всей души. Германское знамя им было противно и казалось им знаменем бунта. Они знали только свою милую Пруссию, которую, впрочем, готовы были загубить в другой раз, лишь бы только не сделать ни малейшей уступки ненавистным либералам. Мысль о признании за буржуазиею каких бы то ни было политических прав, и особливо права критики и контроля, мысль о возможном сравнении их с ними просто приводила их в ужас и возбуждала к ним неописанное негодование. Они желали, хотели расширения и округления прусских границ, но только путем завоевания. С самого начала их цель была поставлена ясно: в противоположность либеральной партии, которая стремилась к германизированию Пруссии, они всегда хотели пруссофицировать Германию.

К тому же, начиная с их предводителя, королевского друга, князя Витгенштейна, сделавшегося вскоре первым министром, они почти все были на откупу у князя Меттерниха. Против них стояла небольшая группа людей, друзей и сподвижников барона Штейна, получившего уже отставку. Эта кучка государственных патриотов продолжала делать неимоверные усилия, чтобы удержать короля на пути либеральных реформ, и, не находя себе опоры нигде, кроме общественного мнения, равно презираемого королем, двором, бюрократией и армией, она была скоро низвергнута. Золото Меттерниха, самостоятельное реакционное направление высших германских кругов оказались гораздо сильнее.

Поэтому Пруссии для исполнения чисто либеральных планов оставался только один путь: усовершенствование и постепенное увеличение административных и финансовых средств, а также и военной силы ввиду будущих завоеваний в самой Германии. Этот путь был, впрочем, вполне сообразен преданиям и всему существу прусской монархии, военной, бюрократической, полицейской, одним словом, государственной, т. е. законно± насильственной во всех своих внешних и внутренних проявлениях. С этого времени стал образовываться в германских официальных кругах идеал *разумного и просвещенного деспотизма*, который и управлял Пруссиею до самого 1848 года. Он был столько же противен либеральным стремлениям пангерманского патриотизма, сколько и деспотический обскурантизм князя Меттерниха.

Против реакции, нашедшей себе такое могущественное выражение во внутренней и во внешней политике Австрии и Пруссии, поднялась, весьма естественно, более или менее в целой Германии, но по преимуществу в южной, борьба со стороны партии либерально± патриотической. Это был род дуэли, длившейся в разных видах, но с результатами почти всегда одинаковыми и всегда чрезвычайно плачевными для немецких либералов, ровно пятьдесят пять лет, от 1815 до 1870 года. Ее можно разделить на несколько периодов:

1. Период либерализма и галлофобии тевтоноромантиков, от 1815 до 1830 года.
2. Период явного подражания французскому либерализму, от 1830 до 1840 года.
3. Период экономического либерализма и радикализма, от 1840 до 1848 года.
4. Период, впрочем, весьма короткий, решительного кризиса, кончившегося смертью германского либерализма, от 1848 до 1850 года и, наконец, [2]
5. Период, начавшийся упорною и, можно сказать, последнею борьбою умирающего либерализма против государственности в прусском парламенте и окончившийся окончательным торжеством прусской монархии в целой Германии, от 1850 до 1870 года.

Немецкий либерализм *первого периода*, от 1815 до 1830, не был одиноким явлением. Он был только национальною, правда, весьма своеобразною отраслью общеевропейского либерализма, начавшего почти во всех пунктах Европы, от Мадрида до Петербурга и от Германии до Греции, борьбу весьма энергичную против общеевропейской монархической и аристократически-клерикальной реакции, которая восторжествовала с возвращением Бурбонов на французский, испанский, неаполитанский, пармский и лукский престолы, папы, а вместе с ним и иезуитов в Рим, пьемонтского короля в Турин и с водворением австрийцев в Италии.

Главным и официальным представителем этой истинно интернациональной реакции был *святой союз* (la sainte alliance), заключенный прежде всего между Россиею, Пруссиею и Австриею, но к которому потом приступили решительно все европейские державы, большие и маленькие, за исключением Англии, Рима и Турции. Начало его было романтическое. Первая мысль о нем созрела в мистическом воображении известной баронессы Криднер, пользовавшейся милостями еще довольно молодого и не совсем отжившего императора± женолюбца АлександраI. Она уверяла его, что он белый ангел, ниспосланный небом для спасения несчастной Европы из когтей черного ангела. Наполеона, и для водворения божественного порядка на земле. Александр Павлович охотно уверовал в такое призвание, вследствие чего предложил Пруссии и Австрии заключение *святого союза*. Три богопомазанные монарха, призвав, как и следовало, святую троицу в свидетели, поклялись друг другу в безусловном и неразрывном братстве и провозгласили целью *союза* торжество божьей воли, нравственности, справедливости и мира на земле. Они обещали всегда действовать заодно, помогая друг другу советом и делом во всякой борьбе, которая будет возбуждена против них духом тьмы, т. е. стремлением народов к свободе. В действительности это обещание означало, что они будут вести войну, солидарную и беспощадную, против всех проявлений либерализма в Европе, поддерживая до конца и во что бы то ни стало феодальные учреждения, пораженные и уничтоженные революциею, но восстановленные реставрациею.

Если фразером и мелодраматическим представителем *святого союза* был Александр, то настоящим руководителем его явился князь Меттерних. Тогда, как во время великой революции и как в настоящее время, Германия была краеугольным камнем европейской реакции.

Благодаря *святому союзу* реакция стала интернациональною, вследствие чего и самые бунты против нее приняли интернациональный характер. Период между 1815 и 1830 был в Западной Европе последним героическим периодом буржуазии.

Насильственное восстановление абсолютно-монархической власти и феодально± клерикальных

учреждений, лишив этот почтенный класс всех выгод, завоеванных им во время революции, естественным образом должно было обратить его снова в класс более или менее революционный. Во Франции, Италии, Испании, Бельгии, Германии образовались буржуазные тайные общества, имевшие целью низвергнуть только что восторжествовавший порядок. В Англии, сообразно обычаям этой страны, единственной, где конституционализм пустил глубокие и живые корни, эта повсеместная борьба буржуазного либерализма против воскресшего феодализма приняла характер легальной агитации и парламентских переворотов. Во Франции, Бельгии, Италии, Испании она должна была принять направление решительно революционное, которое отозвалось даже в России и Польше. Во всех этих странах всякое тайное общество, открытое и уничтоженное правительством, тотчас заменялось другим, и все имели одну цель восстание с оружием в руках, организацию бунта. Вся история Франции, от 1815 до 1830, была рядом попыток низвергнуть трон Бурбонов, и после многих неудач французы достигли, наконец, своей цели в 1830. Всем известна история революции испанской, неаполитанской, пьемонтской, бельгийской и польской в 1830²31 гг. и декабрьского бунта в России. Во всех этих странах, в одних с успехом, в других без успеха, восстания были чрезвычайно серьезны; много было пролито крови, много было потрачено драгоценных жертв, словом, борьба была серьезная, нередко героическая. Посмотрим теперь, что делалось в это же самое время в Германии.

Во весь первый период, с 1815 до 1830, встречаются только два сколько-нибудь замечательные заявления либерального духа в Германии. Первым было знаменитое вартбургское сходбище в 1817 г. Около Вартбургского замка, служившего некогда тайным убежищем для Лютера, собралось около 500 студентов со всех сторон Германии с национальным германским трехцветным знаменем и с такими же лентами через плечо.

Духовные дети патриотического профессора и певца Арндта, сочинителя известного националь-ного гимна: «Wo ist das deutsche Vaterland, и столь же патриотического отца всех немецких гимнази-стов Иана, который в четырех словах, «бодрый, набожный, веселый, свободный, выразил идеал немецкого белокурого и длинноволосого юношества, студенты Северной и Южной Германии нашли нужным собраться, чтобы заявить громко перед целою Европою и главным образом перед всеми пра-вительствами Германии требования немецкого народа. В чем же состояли их требования и заявления?

Тогда во всей Европе была мода на монархическую конституцию. Далее не шло воображение буржуазной молодежи ни во Франции, ни в Испании, ни даже в самой Италии, ни в Польше. Только в одной России отдел декабристов, известный под именем *Южного общества*, под предводительством Пестеля и Муравьева-Апостола требовал разрушения русской империи и основания славянской федеральной республики с отдачей всей земли народу.

Немцы ни о чем подобном не мечтали. Они ничего разрушать не хотели. К подобному делу, непременному и первому условию всякой серьезной революции, они имели так же мало охоты тогда, как и теперь. Они и не думали подымать крамольной, святотатственной руки ни против одного из своих многочисленных отцов-государей. Они только желали, чтобы каждый из этих отцов-государей дал хотя какую-нибудь конституцию. Далее они желали общегерманского парламента, поставлен-ного над частными парламентами, и всегерманского императора, поставленного как представитель национального единства над частными государями. Требование, как видим, чрезвычайно умеренное, да к тому же и в высшей степени нелепое. Они хотели монархической федерации и вместе с тем меч-тали о могуществе единогерманского государства, что представляет очевидную нелепость. Однако стоит только подвергнуть немецкую программу ближайшему рассмотрению, чтобы убедиться, что ка-жущаяся нелепость ее происходит от недоразумения. Недоразумение же состоит в ошибочном пред-положении, будто немцы вместе с национальным могуществом и единством требовали и свободы.

Немцы никогда не нуждались в свободе. Жизнь для них просто немыслима без правительства, т. е. без верховной воли, верховной мысли и железной руки, ими помыкающей. Чем сильнее эта рука, тем более гордятся они и тем самая жизнь становится для них веселее. Их огорчало не отсутствие сво-боды, из которой они не сумели бы сделать никакого употребления, а отсутствие единого, нераз-дельно-национального могущества при действительном существовании множества маленьких тира-ний. Их затаенная страсть, их единая цель создать огромное пангерманское государство, насиль-ственно-всепоглощающее государство, перед которым бы трепетали все другие народы.

Поэтому весьма естественно, что они никогда не хотели народной революции. В этом отношении немцы оказались чрезвычайно логичны. И в самом деле, государственное могущество не может быть результатом народной революции; оно, пожалуй, может быть результатом победы,

сильного государства требовало сильной, деспотической руки Наполеона. Германские либералы ненавидели деспотизм Наполеона, но они готовы были обожать государственную силу, прусскую или австрийскую, лишь бы она согласилась обратиться в пангерманскую силу.

Известная песня Арндта: «Wo ist das deutsche Vaterland, оставшаяся и до сих пор национальным гимном Германии, вполне выражает это страстное стремление к созданию могучего государства. Он спрашивает: «Где отечество немца? Пруссия? Австрия? Северная или Южная Германия? Западная или Восточная? И затем отвечает: «Нет, нет, отечество его должно быть гораздо шире. Оно распространяется всюду, «где звучит немецкий язык и Богу в небе песни поет.

А так как немцы, один из плодотворнейших народов в мире, высылают свои колонии всюду, наполняют собою все столицы Европы, Америку, даже Сибирь, то выходит, что скоро весь земной шар должен будет покориться власти пангерманского императора.

Таково было настоящее значение вартбургского студенческого сходбища. Они искали и требовали себе пангерманского господина, который, держа их в ежовых рукавицах, сильный их страстным и вольным повиновением, заставлял бы трепетать всю Европу.

Теперь посмотрим, каким образом они заявили свое неудовольствие. На вартбургском празднике сначала пропели известную песнь Лютера: «Сильная крепость наш Бог, потом «Wo ist das deutsche Vaterland. Прокричали vivat некоторым немецким патриотам и проклятие реакционерам; наконец, предали огню несколько реакционных брошюр. Вот и все.

Значительнее были два другие факта, случившиеся в 1819: убийство русского шпиона Коцебу студентом Зандом и попытка убийства маленького государственного сановника нассауского герцогства фон Ибеля, совершенная молодым аптекарем Карлом Ленингом. Оба поступка были чрезвычайно нелепы, так как не могли принести решительно никакой пользы. Но, по крайней мере, в них проявилась искренность страсти, героизм самопожертвования и то единство мысли, слова и дела, без которых революционаризм неминуемо впадает в риторику и становится отвратительною ложью.

Кроме этих двух фактов: политического убийства, совершенного Зандом, и попытки Ленинга, все остальные заявления германского либерализма не выходили из области самой наивной и притом чрезвычайно смешной риторики. Это было время дикого тевтонизма. Дети филистеров и сами будущие филистеры, немецкие студенты вообразили себя германцами древних времен, как их описывают Тацит и Юлий Цезарь, воинственными потомками Арминия, девственными обитателями дремучих лесов. Вследствие чего они возымели глубокое презрение не к своему мещанскому миру, как бы следовало по логике, а к Франции, к французам и вообще ко всему, что носило на себе отпечаток французской цивилизации. Французоедство сделалось повальною болезнью в Германии. Университетское юношество стало рядиться в древнегерманское платье, точь-в-точь как наши славянофилы сороковых и пятидесятых годов, и тушило свой юношеский жар в непомерном количестве пива, причем непрерывные дуэли, кончавшиеся обыкновенно царапинами на лице, проявляли его воинственную доблесть. А патриотизм и мнимый либерализм находили полнейшее выражение и удовлетворение в орании воинственно-патриотических песен, между коими национальный гимн «Где отечество немца?, пророческая песнь ныне совершившейся или совершающейся пангерманской империи, занимал, разумеется, первое место.

Сравнив эти заявления с одновременными заявлениями либерализма в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Польше, России, Греции, всякий согласится, что не было ничего невиннее и смешнее немецкого либерализма, который в самых ярых проявлениях своих был проникнут тем хамским чувством послушания и верноподданничества, или, говоря учтивее, тем набожным почитанием властей и начальства, зрелище которого вырвало у Берне болезненное, всем известное и уже приведенное нами восклицание: «Другие народы бывают часто рабами, но мы, немцы, всегда лакеи[1].

И в самом деле, немецкий либерализм, за исключением весьма немногих лиц и случаев, был только особенным проявлением немецкого лакейства, общенационального лакейского честолюбия. Он был только не одобренным цензурой выражением общего желания чувствовать над собою сильную императорскую руку. Но это верноподданническое требование казалось правительству бунтом и преследовалось как бунт.

---

[1] Лакейство есть добровольное рабство. Странная вещь! Кажется, не может быть рабства хуже русских; но никогда между русскими студентами не существовало такого лакейского отношения к профессорам и начальству, какое существует и поныне во всем немецком студенчестве.

Это объясняется соперничеством Австрии и Пруссии. Каждая из них охотно села бы на упраздненный трон Барбарусы, но ни одна не могла согласиться, чтобы этот трон был занят ее соперницей, вследствие чего, поддерживаемые в одно и то же время Россией и Францией, действовали заодно с ними, хотя и по соображениям совершенно различным, и Австрия и Пруссия стали преследовать как проявление самого крайнего либерализма общее стремление всех немцев к созданию единой и могучей пангерманской империи.

Убийство Коцебу было сигналом для самой горячей реакции. Начались съезды и конференции немецких государей, немецких министров, а также и интернациональные конгрессы, на которых участвовали император Александр I и французский посланник. Рядом мер, предписанных Германским союзом, скрутили бедных немецких либералов-холопов. Запретили им предаваться гимнастическим упражнениям и петь патриотические песни оставили им только пиво. Установили повсюду цензуру, и что же? Германия вдруг успокоилась, бурши повиновались даже без тени протеста, и в продолжение одиннадцати лет, от 1819 до 1830 года, на всей немецкой земле не было уже ни малейшего проявления какой бы то ни было политической жизни.

Этот факт так поразителен, что немецкий профессор Мюллер, написавший довольно подробную и правдивую историю пятидесятилетия 1816–1865 годов, рассказывая все обстоятельства этого внезапного и действительно чудесного умиротворения, восклицает: «Нужно ли еще других доказательств, что в Германии нет почвы для революции?

Второй период германского либерализма начался 1830 годом и кончился около 1840. Это период почти слепого подражания французам. Немцы перестают пожирать галлов, но зато обращают всю ненависть на Россию.

Немецкий либерализм проснулся после одиннадцатилетнего сна не собственным движением, а благодаря трем июньским дням в Париже, который нанес первый удар *святому союзу* изгнанием своего законного короля. Вслед, за тем вспыхнула революция в Бельгии и в Польше. Встрепенулась также Италия, но, преданная Людовиком-Филиппом австрийцам, подверглась еще пущему игу. В Испании загорелась междуусобная война между кристиносами и карлистами. При таких обстоятельствах нельзя было не проснуться даже Германии.

Это пробуждение было тем легче, что Июльская революция до смерти перепугала все немецкие правительства, не исключая австрийского и прусского. До самого водворения князя Бисмарка с своим королем-императором на германском престоле все немецкие правительства, несмотря на всю внешнюю обстановку военной, политической и буржуазной силы, в нравственном отношении были чрезвычайно слабы и лишились всякой веры в себя. Этот несомненный факт кажется чрезвычайно странным ввиду наследственной нежности и верноподданничества германского племени. Чего бы, кажется, правительствам беспокоиться и бояться? Правительства чувствовали, знали, что немцы, хотя повинуются им, как следует добрым подданным, однако терпеть их не могут. Что же сделали они, чтобы заглушить ненависть племени, до такой степени расположенного к обожанью своих властей? Какие именно были причины этой ненависти?

Их было две: первая состояла в преобладании дворянского элемента в бюрократии и в войне. Июльская революция уничтожила остатки феодального и клерикального преобладания во Франции; в Англии тоже вслед за Июльской революцией восторжествовала либерально-буржуазная реформа. Вообще с 1830 года начинается полное торжество буржуазии в Европе, но только не в Германии. Там до самых последних годов, т. е. до водворения аристократа Бисмарка, продолжала царствовать феодальная партия. Все высшие и большая часть низших правительственных мест как в бюрократии, так и в войске были в ее руках. Всем известно, как презрительно, надменно немецкие аристократы, князья, графы, бароны и даже простые фоны обращаются с бюргером. Известно знаменитое изречение князя Виндишгреца, австрийского генерала, бомбардировавшего в 1848 году Прагу, а в 1849 Вену: «Человек начинается только с барона. Это преобладание дворянства было тем оскорбительнее для немецких бюргеров, что дворянство это во всех отношениях, и с точки зрения богатства, и по своему умствен-ному развитию, стоит несравненно ниже буржуазного класса. И тем не менее оно командовало всеми и везде. Бюргерам предоставлено было только право платить и повиноваться. Это было чрезвычайно неприятно для бюргеров. И несмотря на всю готовность обожать своих законных государей, они не хо-тели терпеть правительств, находившихся почти исключительно в руках дворянства.

Однако замечательно, что они несколько раз пытались, но никогда не умели свергнуть дворянское иго, которое передоило даже бурные 1848 и 1849 годы и только теперь начинает подвергаться систематическому уничтожению со стороны померанского дворянина, князя Бисмарка.

Другая и самая главная причина нелюбви немцев к правительствам уже объяснена нами. Правительства были противны соединению Германии в сильное государство. Значит, все буржуазные и политические инстинкты немецких патриотов были оскорблены ими. Правительства знали это и потому не доверяли своим подданным и не на шутку боялись их, несмотря на постоянные усилия подданных доказать свою безграничную покорность, полную невинность.

Вследствие этих недоразумений правительства чрезвычайно испугались последствий Июльской революции; так испугались, что достаточно было самого невинного и бескровного уличного шума, путча (Putsch), как выражаются немцы, чтобы заставить королей саксонского и ганноверского и герцогов гессен-дармштадтского и брауншвейгского дать своим подданным конституцию. Далее, Пруссия и Австрия, даже сам князь Меттерних, бывший до тех пор душою реакции в целой Германии, советовали теперь германскому союзу не противиться законным требованиям немецких верноподданных. В парламентах Южной Германии предводители так называемых либеральных партий заговорили очень громко о возобновлении требований общегерманского парламента и о выборе пангерманского императора.

Все зависело от исхода польской революции. Если бы она восторжествовала, прусская монархия, оторванная от своей северо-восточной опоры и принужденная поплатиться если не всеми, то по крайней мере значительной частью своих польских областей, принуждена была бы искать новой точки опоры в самой Германии, и так как она тогда еще не могла приобресть ее путем завоевания, то должна была бы снискивать снисхождение и любовь остальной Германии путем либеральных реформ и смело призвать всех немцев) под императорское знамя- Словом, уже тогда осуществилось бы, хотя и другими путями, то, что сделалось теперь, и осуществилось бы сначала, может быть, в более либеральных формах. Вместо того чтобы Пруссии поглотить Германию, как вышло теперь, тогда могло бы показаться, будто Германия поглощает Пруссию. Но это только казалось бы, потому что на самом деле Германия все-таки была бы порабощена силою прусской государственной организации.

Но поляки, покинутые и преданные всею Европою, несмотря на геройское сопротивление, были, наконец, побеждены. Варшава пала, и с нею пали все надежды германского патриотизма. Король Фридрих Вильгельм III, оказавший столь значительные услуги своему зятю, императору Николаю, ободренный его победою, сбросил маску и пуще прежнего поднял гонение на пангерманских патриотов. Тогда, собрав все свои силы, они сделали последнее торжественное заявление, если не сильное, то по крайней мере чрезвычайно шумное, сохранившееся в новейшей истории Германии под именем *Ґамбахского празднества* в мае 1832.

В Гамбахе, в баварском Пфальце, на этот раз собралось около тридцати тысяч человек, мужчин и женщин. Мужчины с трехцветными лентами через плечо, дамы с трехцветными шарфами, и все, разумеется, под трехцветным германским знаменем. На этом митинге говорилось уже не о федерации германских стран и племен, а о пангерманской централизации. Некоторые ораторы, как, напр., доктор Вирт, произнесли даже имя германской республики и даже европейской федеральной республики, европейских соединенных штатов.

Но все это были только слова, слова гнева, злобы, отчаяния, возбужденных в немецких сердцах явным нежеланием или немощью немецких государей создать пангерманскую империю, слова чрезвычайно красноречивые, но за которыми не было ни воли, ни организации, а поэтому не было и силы.

Однако Гамбахский митинг не прошел совсем бесследно. Мужички баварского Пфальца не удовольствовались словами. Вооружившись косами и вилами, они пошли разрушать дворянские замки, таможни и присутственные места, предавая огню все бумаги, отказываясь платить подати и требуя для себя земли, а на земле полной свободы. Этот мужицкий бунт, чрезвычайно похожий по своим начинаниям на всеобщее восстание германских крестьян в 1525, страшно перепугал не только консерваторов, но даже либералов и самих немецких республиканцев, буржуазный либерализм которых никак не может совмещаться с настоящим народным бунтом. Но, к общему удовольствию, эта возобновленная попытка крестьянского восстания была подавлена баварскими войсками.

Другим последствием *Ґамбахского празднества* было нелепое, хотя и чрезвычайно смелое и с этой точки зрения достойное уважения, нападение семидесяти вооруженных студентов на главный караул, охранявший здание Германского союза во Франкфурте. Нелепо было это предприятие потому, что Германский союз надо было бить не во Франкфурте, а в Берлине или Вене, и потому что семидесяти студентов было далеко недостаточно, чтобы сломить силу реакции в Германии. Они, правда, надеялись, что за ними и с ними встанет все франкфуртское население, не подозревая, что правительство было предупреждено за несколько дней об этой безумной попытке. Правительство же не нашло

нужным предупредить ее, а, напротив, дало ей совершиться, чтобы иметь потом хороший предлог для окончательного уничтожения *революционеров* и *революционных стремлений* в Германии.

И в самом деле, за *франкфуртским атентатом* поднялась самая страшная реакция во всех странах Германии. Во Франкфурте была учреждена центральная комиссия, под ведением которой действовали специальные комиссии всех больших и маленьких государств. В центральной комиссии, разумеется, заседали австрийские и прусские государственные инквизиторы. Это был настоящий праздник для немецких чиновников и для бумажных фабрик Германии, потому что было исписано несметное количество бумаги. Во всей Германии было арестовано более 1800 человек, в том числе много людей почтенных, как профессоров, докторов, адвокатов, словом, весь цвет либеральной Германии. Многие бежали, но многие просидели в крепостях до 1840, иные же до 1848 года.

Мы видели значительную часть этих отчаянных либералов в марте 1848 в *фор-парламенте, а потом в Национальном собрании*. Все они без исключения оказались отчаянными реакционерами.

Гамбахским праздником, восстанием мужиков в Пфальце, франкфуртским атентатом и воспоследовавшим за ним громадным процессом кончилось всякое политическое движение Германии, настало гробовое спокойствие, которое продолжалось без малейшего перерыва вплоть до 1848 г. Зато движение перенеслось в литературу.

Мы уже сказали, что в противоположность первому периоду (1815–1830), периоду исступленного французоедства, этот второй период немецкого либерализма (1830–1840), также и третий (до 1848) можно назвать чисто французским, по крайней мере в отношении беллетристической и политической литературы. Во главе этого нового направления стояли два еврея: один гениальный поэт Гейне; другой замечательный памфлетист Германии Берне. Оба почти в первые дни Июльской революции переселились в Париж, откуда один стихами, другой «письмами из Парижа стали проповедовать немцам французские теории, французские учреждения и парижскую жизнь.

Можно сказать, они совершили переворот в германской литературе. Книжные лавки и библиотеки для чтения переполнились переводами и весьма плохими подражаниями французских драм, мелодрам, комедий, повестей, романов. Молодой буржуазный мир стал думать, чувствовать, говорить, причесываться, одеваться по-французски. Впрочем, это не сделало его отнюдь любезнее, а только смешнее.

Но в то же время укоренялось в Берлине направление более серьезное, основательное, а главное, несравненно более свойственное германскому духу. Как часто бывало в истории, смерть Гегеля, последовавшая вскоре после Июльской революции, утвердила в Берлине, в Пруссии, а потом и в целой Германии преобладание его метафизической мысли, царство гегелианизма.

Отказавшись, по крайней мере на первое время и по причинам вышеизложенным, от соединения Германии в одно нераздельное государство путем либеральных реформ, Пруссия не могла и не хотела, однако, совсем отказаться от нравственного и материального преобладания над всеми другими немецкими государствами и странами. Напротив, она постоянно стремилась группировать вокруг себя умственные и экономические интересы целой Германии. Для этого она употребила два средства: развитие Берлинского университета и *таможенный союз*.

В последние годы царствования Фридриха Вильгельма III министром народного просвещения был государственный человек старой либеральной школы барона Штейна, Вильгельма фон Гумбольдта и др., тайный советник фон Альтенштейн. Сколько было возможно в то реакционное время в противность всем остальным прусским министрам, своим товарищам, в противность Меттерниху, который систематическим тушением всякого умственного света надеялся упрочить царство реакции в Австрии и в целой Германии, Альтенштейн, оставаясь верным старым либеральным преданиям, старался собрать в Берлинском университете всех передовых людей, всех знаменитостей германской науки, так что в то самое время, когда прусское правительство, заодно с Меттернихом и поощряемое императором Николаем, душило во что бы то ни стало либерализм и либералов, Берлин стал средоточием, блестящим фокусом научно-духовной жизни Германии.

Гегель, приглашенный прусским правительством еще в 1818 занять кафедру Фихте, умер в конце 1831 г. Но он оставил после себя в Берлинском, Кенигсбергском и Галльском университетах целую школу молодых профессоров, издателей его сочинений и горячих приверженцев и толкователей его учения. Благодаря их неутомительным стараниям учение это распространилось скоро не только в целой Германии, но во многих других странах Европы, даже во Франции, куда оно было перенесено, совсем изуродованное Виктором Кузеном. Оно приковало к Берлину как к живому источнику нового света, чтобы не сказать нового откровения, множество умов немецких и ненемецких. Кто не жил

в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют, наконец, найден и понят, и его можно покупать в розницу или оптом в Берлине.

Философия Гегеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была последним и окончательным словом того пантеистического и абстрактно-гуманитарного движения германского духа, которое началось творениями Лессинга и достигло всестороннего развития в творениях Гете; движение, создавшее мир бесконечно широкий, богатый, высокий и будто бы вполне рациональный, но остававшийся столь же чуждым земле, жизни, действительности, сколько был чужд христианскому, богословскому небу. Вследствие этого этот мир, как фата-моргана, не достигая неба и не касаясь земли, вися между небом и землею, обратил самую жизнь своих приверженцев, своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнамбулических представлений и опытов, сделал их никуда не годными для жизни или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном совершенно противное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале.

Таким образом объясняется изумительный и довольно общий факт, поражающий нас еще поныне в Германии, что горячие поклонники Лессинга, Шиллера, Гете, Канта, Фихте и Гегеля могли и до сих пор могут служить покорными и даже охотными исполнителями далеко не гуманных и не либеральных мер, предписываемых им правительством. Можно даже сказать вообще, что чем возвышеннее идеальный мир немца, тем уродливее и пошлее его жизнь и его действия в живой действительности.

Окончательным завершением этого высокоидеального мира была философия Гегеля. Она вполне выразила и объяснила его своими метафизическими построениями и категориями и тем самым убила его, придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной бесконечной несостоятельности, недействительности и, говоря проще, пустоты.

Школа Гегеля, как известно, разделилась на две противоположные партии; причем, разумеется, между ними образовалась и третья, средняя партия, о которой, впрочем, здесь говорить нечего. Одна из них, именно консервативная партия, нашла в новой философии оправдание и узаконение всего существующего, ухватившись за известное изречение Гегеля: «Все действительное разумно. Эта партия создала так называемую официальную философию прусской монархии, уже представленной самим Гегелем как идеал политического устройства.

Но противуположная партия так называемых *революционных* гегельянцев оказалась последовательнее самого Гегеля и несравненно смелее его; она сорвала с его учения консервативную маску и представила во всей наготе беспощадное отрицание, составляющее его настоящую суть. Во главе этой партии встал знаменитый Фейербах, доведший логическую последовательность не только до полнейшего отрицания всего божественного мира, но даже до отрицания самой метафизики. Далее он идти не мог. Сам все-таки метафизик, он должен был уступить место своим законным преемникам, представителям школы материалистов или реалистов, большая часть которых, впрочем, как, напр., гг. Бюхнер, Маркс и другие, не умели и не умеют освободиться от преобладания метафизической абстрактной мысли.

В тридцатых и сороковых годах господствовало мнение, что революция, которая последует за распространением гегелианизма, развитого в смысле полнейшего отрицания, будет несравненно радикальнее, глубже, беспощаднее и шире в своих разрушениях, чем революция 1793 г. Так думали потому, что философская мысль, выработанная Гегелем и доведенная до самых крайних результатов учениками его, действительно была полнее, всестороннее и глубже мысли Вольтера и Руссо, имевших, как известно, самое прямое и далеко не всегда полезное влияние на развитие и, главное, на исход первой французской революции. Так, например, несомненно, что почитателями Вольтера, инстинктивного презирателя народных масс, *глупой толпы*, были государственные люди вроде Мирабо и что самый фанатический приверженец Жан Жака Руссо, Максимилиан Робеспьер был восстановителем божественных и реакционно-гражданских порядков во Франции.

В тридцатых и сороковых годах полагали, что когда наступит опять пора для революционного действия, то доктора философии школы Гегеля оставят далеко за собою самых смелых деятелей девяностых годов и удивят мир своим строго логическим, беспощадным революционаризмом. На эту тему поэт Гейне написал много красноречивых слов. «Все ваши революции ничто, говорил он францу-зам, перед нашею будущею немецкою революциею. Мы, имевшие дерзость систематически, ученым образом уничтожить весь божественный мир, мы не остановимся ни перед какими кумирами на земле

и не успокоимся, пока на развалинах привилегий и власти мы не завоюем для целого мира полнейшего равенства и полнейшей свободы. Почти такими же словами возвещал Гейне французам будущие чудеса германской революции. И многие верили ему. Но увы! опыта 1848 и 1849 годов было достаточно, чтобы разбить в прах эту веру. Германские революционеры не только не превзошли героев первой французской революции, но даже не умели сравниться с французскими революционерами тридцатых годов.

Какая причина этой плачевной несостоятельности? Она объясняется, разумеется, главным образом специальным историческим характером немцев, располагающим их гораздо более к верноподданническому послушанию, чем к бунту, но также и тем абстрактным методом, которым она шла к революции. Сообразно опять-таки своей природе, она шла не от жизни к мысли, но от мысли к жизни. Но кто отправляется от отвлеченной мысли, тот никогда не доберется до жизни, потому что из метафизики в жизнь нет дороги. Они разделены пропастью. А перескочить через эту пропасть, совершитьsalto mortale или то, что сам Гегель назвал *квалитативным прыжком* (qualitativer Sprung)из мира логики в мир природы, живой действительности, не удалось еще никому, да никогда никому не удастся. Кто опирается на абстракцию, тот и умрет в ней.

Живой, конкретно-разумный ход это в науке ход от факта действительного к мысли, его обнимающей, выражающей и тем самым объясняющей; а в мире практическом движение от жизни общественной к возможно разумной организации ее, сообразно указаниям, условиям, запросам и более или менее страстным требованиям этой самой жизни.

Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого и потому действительно народный, путь анархической социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной общественности.

Путь господ метафизиков совсем иной. Метафизиками мы называем не только последователей учения Гегеля, которых уже немного осталось на свете, но также и позитивистов и вообще всех проповедников богини науки в настоящее время; вообще всех тех, кто, создав себе тем или другим путем, хотя бы посредством самого тщательного, впрочем, по необходимости всегда несовершенного изучения прошедшего и настоящего, создал себе идеал социальной организации, в которой, как новый Прокруст, хочет уложить во что бы то ни стало жизнь будущих поколений; всех тех, одним словом, кто не смотрит на мысль, на науку как на одно из необходимых проявлений естественной и общественной жизни, а до того суживает эту бедную жизнь, что видит в ней только практическое проявление своей мысли и своей всегда, конечно, несовершенной науки.

Метафизики или позитивисты, все эти рыцари науки и мысли, во имя которых они считают себя призванными предписывать законы жизни, все они, сознательно или бессознательно, реакционеры. Доказать это чрезвычайно легко.

Не говоря уже о метафизике вообще, которою в эпохи самого блестящего процветания ее занимались только немногие, наука, в более широком смысле этого слова, более серьезная и, хотя сколько-нибудь заслуживающая это имя, доступна в настоящее время только весьма незначительному меньшинству. Например, у нас в России на восемьдесят миллионов жителей сколько насчитывается серьезных ученых? Людей, толкующих о науке, можно, пожалуй, насчитать тысячи, но сколько-нибудь знакомых с ней не на шутку вряд ли найдется несколько сотен. Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллионы людей должны быть управляемы одною или двумя сотнями ученых, в сущности, даже гораздо меньшим числом, потому что не всякая наука делает человека способным к управлению обществом, а наука наук, венец всех наук социология, предпола-гающая в счастливом ученом предварительное серьезное знакомство со всеми другими науками. А много ли таких ученых не только в России, но и во всей Европе? Может быть, двадцать или трид-цать человек! И эти двадцать или тридцать ученых должны управлять целым миром! Можно ли пред-ставить себе деспотизм нелепее и отвратительнее этого?

Во-первых, вероятнее всего, что эти тридцать ученых перегрызутся между собою, а если соединятся, то это будет на зло всему человечеству. Ученый уже по своему существу склонен ко всякому умственному и нравственному разврату, и главный порок его это превозвышение своего знания, своего собственного ума и презрение ко всем незнающим. Дайте ему управление, и он сделается самым несносным тираном, потому что ученая гордость отвратительна, оскорбительна и притеснительнее всякой другой. Быть рабами педантов что за судьба для человечества! Дайте им полную волю, они

станут делать над человеческим обществом те же опыты, какие ради пользы науки делают теперь над кроликами, кошками и собаками.

Будем уважать ученых по их заслугам, но для спасения их ума и их нравственности не должно давать им никаких общественных привилегий и не признавать за ними другого права, кроме общего права свободы проповедовать свои убеждения, мысли и знания. Власти им, как никому, давать не следует, потому что кто облечен властью, тот по неизменному социологическому закону непременно сделается притеснителем и эксплуататором общества.

Но, скажут, не всегда же наука будет достоянием только немногих; придет время, когда она будет доступна для всех и для каждого. Ну, время - это еще далеко, и много должно совершиться общественных переворотов прежде, чем оно наступит. А до тех пор, кто согласится отдать свою судьбу в руки ученых, в руки попов науки? Зачем тогда вырывать ее из рук христианских попов?

Нам кажется, что чрезвычайно ошибаются те, которые воображают, что после социальной революции все будут одинаково учены. Наука как наука, и тогда, как теперь, останется одною из многочисленных общественных специальностей, с тою или иною разницею, что эта специальность, доступная теперь только лицам привилегированных классов, тогда без всякого различия классов, раз и навсегда упраздненных, сделается доступною для всех лиц, имеющих призвание и охоту заниматься ею не в ущерб общему ручному труду, который будет обязателен для всякого.

Общим достоянием сделается только общее научное образование и, главное, знакомство с научным методом, привычка мыслить, т. е. обобщать факты и выводить из них более или менее правильные заключения. Но энциклопедических голов, а потому и ученых социологов всегда будет очень немного. Горе было бы человечеству, если бы когда-нибудь мысль сделалась источником и единственным руководителем жизни, если бы науки и учение стали во главе общественного управления. Жизнь иссякла бы, а человеческое общество обратилось бы в бессловесное и рабское стадо. Управление жизни наукою не могло бы иметь другого результата, кроме оглупения всего человечества.

Мы, революционеры-анархисты, поборники всенародного образования, освобождения и широкого развития общественной жизни, а потому враги государства и всякого государствования, в противоположность всем метафизикам, позитивистам и всем ученым и неученым поклонникам богини науки, мы утверждаем, что жизнь естественная и общественная всегда предшествует мысли, которая есть только одна из функций ее, но никогда не бывает ее результатом; что она развивается из своей собственной неиссякаемой глубины, рядом различных фактов, а не рядом абстрактных рефлексий, и что последние, всегда производимые ею и никогда ее не производящие, указывают только, как верстовые столбы, на ее направление и на различные фазисы ее самостоятельного и самородного развития.

Сообразно такому убеждению, мы не только не имеем намерения и ни малейшего опыта навязывать нашему или чужому народу какой бы то ни было идеал общественного устройства, вычитанного из книжек или выдуманного нами самими, но в убеждении, что народные массы носят в своих, более или менее развитых историею инстинктах, в своих насущных потребностях и в своих стремлениях, сознательных и бессознательных, все элементы своей будущей нормальной организации, мы ищем этого идеала в самом народе; а так как всякая государственная власть, всякое правительство, по существу своему и по своему положению поставленное вне народа, над ним, непременным образом должно стремиться к подчинению его порядкам и целям ему чуждым, то мы объявляем себя врагами всякой правительственной, государственной власти, врагами государственного устройства вообще и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда, организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и помимо всякой официальной опеки, но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь.

Таковы убеждения социальных революционеров, и за это нас называют анархистами. Мы против этого названия не протестуем, потому что мы действительно враги всякой власти, ибо знаем, что власть действует столь же развратительно на тех, кто облечен ею, сколько и на тех, кто принужден ей покоряться. Под тлетворным влиянием ее одни становятся честолюбивыми и корыстолюбивыми деспотами, эксплуататорами общества в свою личную или сословную пользу, другие рабами.

Идеалисты всякого рода, метафизики, позитивисты, поборники преобладания науки над жизнью, доктринерные революционеры, все вместе, с одинаковым жаром, хотя разными аргументами, отстаивают идею государства и государственной власти, видя в них, *совершенно логично*, по-своему единое спасение общества. *Совершенно логично* , потому что, приняв раз за основание положение, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория общественной

практике и что поэтому социологическая наука должна быть исходною точкою для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере в настоящее время, составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений, и что на другой день революции новая общественная организация должна быть создана не свободным соединением народных ассоциаций, общин, волостей, областей снизу вверх, сообразно народным потребностям и инстинктам, а единственно диктаторскою властью этого ученого меньшинства, *будто бы* выражающего общенародную волю.

На этой фикции мнимого народного представительства и на действительном факте управления народных масс незначительною горстью привилегированных избранных или даже не избранных толпами народа, согнанных для выборов и никогда не знающими, зачем и кого они выбирают; на этом мнимом и отвлеченном выражении воображаемой общенародной мысли и воли, о которых живой и настоящий народ не имеет даже и малейшего представления, основываются одинаковым образом и теория государственности, и теория так называемой революционной диктатуры.

Между революционною диктатурою и государственностью вся разница состоит только во внешней обстановке. В сущности же они представляют обе одно и то же управление большинства меньшинством во имя мнимой глупости первого и мнимого ума последнего. Поэтому они одинаково реакционерны, имея как та, так и другая результатом непосредственным и непременным упрочение политических и экономических привилегий управляющего меньшинства и политического и экономического рабства народных масс.

Теперь ясно, почему *доктринерные революционеры*, имеющие целью низвержение существующих властей и порядков, чтобы на развалинах их основать свою собственную диктатуру, никогда не были и не будут врагами, а напротив, всегда были и всегда будут самыми горячими поборниками государства. Они только враги настоящих властей, потому что они исключают возможность их дикта-туры, но вместе с тем самые горячие друзья государственной власти, без удержания которой рево-люция, освободив не на шутку народные массы, отняла бы у этого мнимо революционного меньшин-ства всякую надежду заложить их в новую упряжь и облагодетельствовать их своими правительствен-ными мерами.

И это так справедливо, что в настоящее время, когда в целой Европе торжествует реакция, когда все государства, обуянные самым злобным духом самосохранения и народопритеснения, вооруженные с ног до головы в тройную броню, военную, полицейскую и финансовую, и готовящиеся под верховным предводительством князя Бисмарка к отчаянной борьбе против социальной революции; теперь, когда, казалось бы, все искренние революционеры должны соединиться, чтобы дать отпор отчаянному нападению интернациональной реакции, мы видим, напротив, что доктринерные революционеры под предводительством г. Маркса везде держат сторону государственности и государственников против народной революции.

Во Франции, начиная с 1870 года, они стояли за государственного республиканца-реакционера, Гамбетту, против революционной Лиги Юга (La Ligue du Midi), которая только одна могла спасти Францию и от немецкого порабощения, и от еще более опасной и ныне торжествующей коалиции клерикалов, легитимистов, орлеанистов и бонапартистов. В Италии они кокетничают с Гарибальди и с остатками партии Маццини; в Испании они открыто приняли сторону Кастеляра, Пи-и-Маргаля и мадридской конституанты; наконец, в Германии и вокруг Германии, в Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании они служат службу князю Бисмарку, на которого, по собственному признанию, смотрят как на весьма полезного революционного деятеля, помогая ему в деле пангерманизирования всех этих стран.

Теперь ясно, почему господа доктора философии школы Гегеля, несмотря на свой пламенный революционаризм в мире отвлеченных идей, в действительности оказались в 1848 и 1849 не революционерами, но большею частью реакционерами, и почему в настоящее время большинство их сделалось отъявленными сторонниками князя Бисмарка.

Но в двадцатых и сороковых годах мнимый революционаризм их, еще ничем и никак не испытанный, находил много веры. Они сами верили в него, хотя проявляли его большею частью в сочинениях весьма отвлеченного свойства, так что прусское правительство не обращало на него никакого внимания. Может быть, оно уже и тогда понимало, что они работают для него.

С другой стороны, оно неуклонно стремилось к своей главной цели основанию сначала прус-

ской гегемонии в Германии, а потом и прямого подчинения целой Германии всему нераздельному владычеству путем, который ему самому казался несравненно выгоднее и удобнее, чем путь либеральных реформ и даже поощрения германской науки, а именно путем экономическим, причем оно должно было встретить горячие симпатии всей богатой торговой и промышленной буржуазии, всего жидов-ского финансового мира в Германии, так как процветание как той, так и другого непременно требовало обширной государственной централизации; мы видим этому новый пример в настоящее время в немецкой Швейцарии, где большие промышленные торговцы и банкиры начинают уже явно выска-зывать свои симпатии теснейшему политическому соединению с обширным германским рынком, т. е. пангерманскою империею, которая оказывает на все окружающие маленькие страны притягательную или засасывающую силу боа-констриктора.

Первая мысль учреждения таможенного союза принадлежит, впрочем, не Пруссии, а Баварии и Виртембергу, заключившим между собою такой союз еще в 1828. Но Пруссия скоро овладела и мыслью, и ее исполнением.

Прежде в Германии было столько же таможен и разнороднейших пошлинных порядков, сколько было в ней государств. Это положение было действительно нестерпимо и обратило всю немецкую торговлю и промышленность в застой. Итак, Пруссия, взявшаяся могучею рукою за таможенное соединение Германии, оказала настоящее благодеяние последней. Уже в 1836 под верховным управлением прусской монархии к союзу принадлежали оба Гессена, Бавария, Виртемберг, Саксония, Тюрингия, Баден, Нассау и вольный город Франкфурт всего более 27 миллионов жителей. Оставались только Ганновер, Мекленбургские и Ольденбургские герцогства, вольные города Гамбург, Любек и Бремен и, наконец, вся Австрийская империя.

Но именно исключение Австрийской империи из Германского таможенного союза составляло существенный интерес Пруссии; потому что это исключение, вначале только экономическое, должно было повлечь за собою впоследствии и политическое исключение.

В 1840 году начался третий период германского либерализма. Характеризовать его очень трудно. Он чрезвычайно богат многосторонним развитием самых различных направлений, школ, интересов и мыслей, но столько же беден фактами. Он весь наполнен взбалмошною личностью и хаотическими писаниями короля Фридриха Вильгельма IV, севшего на престол своего отца именно в 1840 году.

С ним совершенно изменилось отношение Пруссии к России. В противность своему отцу и своему брату, нынешнему императору Германии, новый король ненавидел императора Николая. Впослед-ствии он за это дорого поплатился и горько и громко в этом раскаялся но в начале царствования ему и черт не был страшен. Полуученый, полупоэт, пораженный физиологическою немощью и к тому же пьяница, покровитель и друг странствующих романтиков и пангерманствующих патриотов, он в по-следние года жизни отца был надеждою немецких патриотов. Все надеялись, что он даст конституцию.

Первым действием его была полнейшая амнистия. Николай нахмурил брови, но зато вся Германия рукоплескала, и либеральные надежды усилились. Однако конституции он не дал, но зато нагово-рил столько разного вздора, и политического, и романтического, и древнетевтонского, что даже немцы ничего понять не могли.

А дело было очень просто. Тщеславный, славолюбивый, неусидчивый, беспокойный, но вместе с тем не способный ни к выдержке, ни к делу, Фридрих Вильгельм IV был просто эпикуреец, кутила, романтик или самодур на престоле. Как человек ни к чему действительному не способный, он не сомневался ни в чем. Ему казалось, что королевская власть, в мистическое богопризванье которой он ис-кренно верил, дает ему право и силу делать решительно все что вздумается и наперекор логике, и всем законам природы и общественности совершать самое невозможное, соединять решительно несовме-стимое.

Таким образом, он хотел, чтобы в Пруссии существовала полнейшая свобода, но, чтобы вместе с тем королевская власть осталась неограниченною, его произвол ничем не стесненным. В этом духе он стал декретировать конституции сначала только провинциальные, а в 1847 дал не что вроде общей конституции. Но во всем этом не было ничего серьезного. Было только одно: своими беспрерывными, друг друга дополняющими и друг другу противоречащими попытками он переворотил весь старый порядок и не на шутку расшевелил своих подданных сверху донизу. Все стали ожидать чего-то.

Это что-то была революция 1848 года. Все чувствовали ее приближение не только во Франции, в Италии, но даже в Германии; да, именно в Германии, которая в продолжение этого третьего периода, между 1840 и 1848 годами успела набраться французского крамольного духа. Этому французскому настроению умов нисколько не мешал гегелианизм, который, напротив, очень любил выражать

на французском языке, разумеется, с приличною тяжеловесностью и с немецким акцентом, свои отвлеченно-революционерные выводы. Никогда Германия не читала так много французских книг, как в это время. Она, казалось, забыла собственную литературу. Зато литература французская, особенно же революционная, проникла всюду. История жирондистов Ламартина, сочинения Луи Блана и Мишле были переведены на немецкий язык вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями великой революции и распределять между собою на будущее время роли: кто воображал себя Дантоном или любезным Камиль-де-Муленом (der liebenswiirdige Camille-Desmoulens!), кто Робеспьером или Сен-Жюстом, кто, наконец, Маратом. Самим же собою почти не был никто, потому что для этого надо быть одаренным действительною природою. У немцев же все есть, и глубокомысленное мышление, и возвышенные чувства, только нет природы, и если есть, то холопская.

Многие немецкие литераторы, следуя примеру Гейне и уже умершего тогда Берне, переселились в Париж. Между ними замечательны были доктор Арнольд Руге, поэт Гервег и К. Маркс. Они хотели сначала издавать вместе журнал, но перессорились. Два последние были уже социалистами.

Германия стала знакомиться с социальными учениями только в сороковых годах. Венский профессор Штейн чуть ли не первый написал немецкую книгу о них. Но первым практическим немецким социалистом или, вернее, коммунистом был, несомненно, портной Вейтлинг, прибывший в начале 1843 в Швейцарию из Парижа, где состоял членом тайного общества французских коммунистов. Он основал много коммунистических обществ между немцами-ремесленниками в Швейцарии, но в конце 1843 был выдан Пруссии тогдашним правителем цюрихского кантона, г. Блунчли, ныне знаменитым юрисконсультом и профессором права в Германии.

Но главным пропагандистом социализма в Германии, сначала тайно, а вскоре потом публично, был К. Маркс.

Г. Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах.

По происхождению г. Маркс еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные, до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен, как Иегова, господь Бог его предков, и, как он, мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать и распространить против того, кто имел несчастие возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только, по его мнению, впрочем, большею частью ошибочному, эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический человек.

Таковы его отрицательные качества. Но и положительных в нем очень много. Он очень умен и чрезвычайно многосторонне учен. Доктор философии, он еще в Кельне около 1846 был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гегельянцев, с которыми начал издавать оппозиционный журнал, вскоре закрытый по министерскому приказанию. К этому кружку принадлежали также братья Бруно Бауер и Эдгар Бауер, Макс Штирнер и потом в Берлине первый кружок немецких нигилистов, который циническою последовательностью своею далеко превзошел самых ярых нигилистов России.

В 1843 или 1844 г. Маркс переселился в Париж. Тут он впервые столкнулся с обществом французских и немецких коммунистов и соотечественником своим, немецким евреем г. Морисом Гессом, который прежде его был ученым экономистом и социалистом и имел в это время значительное влияние на научное развитие г. Маркса.

Редко можно найти человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как г. Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже, а это время наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других и положительностью познаний, и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою, и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему этому г. Маркс прибавил еще два новые элемента: диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля и которую доводит нередко до шалости, до разврата, и точку отправления коммунистическую.

Г. Маркс перечитал, разумеется, всех французских социалистов, от Сент-Симона до Прудона включительно, и последнего, как известно, он ненавидит, и нет сомнения, что в беспощадной критике, направленной им против Прудона, много правды: Прудон, несмотря на все старания стать на почву реальную, остался идеалистом и метафизиком. Его точка отправления абстрактная идея права;

от права он идет к экономическому факту, а г. Маркс в противоположность ему высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г. Маркса.

Но что замечательнее всего и в чем, разумеется, г. Маркс никогда не признавался, это то, что в отношении политическом г. Маркс прямой ученик Луи Блана. Г. Маркс несравненно умнее и несравненно ученее этого маленького неудавшегося революционера и государственного человека; но как немец, несмотря на свой почтенный рост, он попал в учение к крошечному французу.

Впрочем, эта странность объясняется просто: риторик француз как буржуазный политик и как отъявленный поклонник Робеспьера и ученый немец в своем тройном качестве гегельянца, еврея и немца, оба отчаянные государственники, и оба проповедуют государственный коммунизм, с тою только разницею, что один вместо аргументов довольствуется риторическими декламациями, а другой, как приличествует ученому и тяжеловесному немцу, обстанавливает этот равно им любезный принцип всеми ухищрениями гегелевской диалектики и всем богатством своих многосторонних познаний.

Около 1845 г. Маркс стал во главе немецких коммунистов и вслед за тем, вместе с г. Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но зато более практическим и не менее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество германских коммунистов, или государственных социалистов. Центральный комитет их, которого он, вместе с г. Энгельсом, был, разумеется, главою, по изгнанию их обоих из Парижа в 1846 был перенесен в Брюссель, где оставался до 1848. Впрочем, до самого этого года пропаганда их, хотя распространялась понемногу в целой Германии, но оставалась тайною и потому не выходила наружу.

Социалистический яд несомненно проникал самыми разнообразными путями в Германию. Он выражался даже в религиозных движениях. Кто не слыхал об эфемерном религиозном учении, воз-никшем в 1844 и потонувшем в 1848 под именем *«нового католицизма* (теперь в Германии появилась новая ересь против римской церкви под названием *«старого католицизма*).

Новый католицизм произошел следующим образом. Как ныне во Франции, так в 1844 в Германии католическому духовенству вздумалось возбудить фанатизм католического населения громадною процессиею в честь нешитого платья Христа, будто бы хранящегося в Трире. Около миллиона пилигримов собралось на этот праздник со всех концов Европы торжественно понесли святое платье и пели: «Святое платье, моли Бога о нас! Это возбудило огромный скандал в Германии и дало повод немецким радикалам выкинуть фарс. В 1848 нам случилось видеть в Бреславле тот пивной кабачок, где вскоре после этой процессии собрались несколько силезских радикалов, между прочим, известный граф Рейхенбах и товарищи его по университету гимназический учитель Штейн и бывший католический священник Иоган Ронге. Под их диктовку Ронге написал открытое письмо, красноречивый протест к епископу трирскому, которого прозвал Тецелем XIX века. Таким образом началась новокатолическая ересь.

Она быстро распространилась по целой Германии, даже в Познанском герцогстве, и под предлогом возвращения древней христианской коммунистической трапезы стали открыто проповедовать коммунизм. Правительство недоумевало и не знало, что делать, так как проповедь носила все-таки религиозный характер и так как в самом протестантском населении образовались свободные общины, обнаруживавшие также, хотя и скромнее, политическое и социалистическое направление.

В 1847 индустриальный кризис, обрекший на голодную смерть десятки тысяч ткачей, еще сильнее возбудил интерес целой Германии к социальным вопросам. Хамелеон-поэт Гейне написал по этому случаю великолепное стихотворение «Ткач, которое пророчило близкую и беспощадную социальную революцию.

Да, все в Германии ждали если не социальной, то по крайней мере политической революции, от которой чаяли воскресения и обновления великого германского отечества, и в этом всеобщем ожидании, в этом хоре надежд и желаний главная нота была патриотическая и государственная. Немцам стало обидно то ироническое удивление, с которым, говоря о них как о народе ученом, глубокомысленном, англичане и французы отрицали в них всякую практическую способность и всякий смысл действительности. Поэтому все их желания и требования были устремлены главным образом к одной цели: к образованию единого и могучего пангерманского государства, в какой бы форме оно ни было,

республиканской или монархической, лишь бы это государство было достаточно сильно, чтобы возбудить удивление и страх во всех соседних народах.

В 1848 вместе с общеевропейскою революциею наступил четвертый период, последний кризис германского либерализма, кризис, окончившийся его совершенным банкротством.

Со времени плачевной победы, одержанной в 1525 соединенными силами феодализма, приближавшегося уж, видимо, к своему концу, и новейших государств, только что начинавших образовываться в Германии, над громадным восстанием крестьян, победы, обрекшей окончательно всю Германию на продолжительное рабство под бюрократическо-государственным игом, в этой стране никогда еще не скоплялось столько горючего материала, столько революционных элементов, как накануне 1848. Неудовольствие, ожидание и желание переворота, за исключением высшей бюрократии и дворянского класса, было всеобщее, и, чего не было в Германии ни после падения Наполеона, ни в двадцатых, ни в тридцатых годах, теперь среди самой буржуазии оказались не десятки, а многие сотни людей, называвших себя революционерами и имевших право называть себя этим именем, потому что, не довольствуясь литературным пустоцветом и риторическим праздноглагольствованием, были действительно готовы положить свою жизнь за свои убеждения.

Мы знали много таких людей. Они, разумеется, не принадлежали к миру богачей или литературно-ученой буржуазии. Среди них было чрезвычайно мало адвокатов, немного больше медиков и, что замечательно, почти ни одного студента, за исключением студентов Венского университета, заявившего в 1848 и 1849 годах довольно серьезное революционное направление, вероятно, потому, что в отношении к науке стоял несравненно ниже всех германских университетов (мы не говорим о Пражском, так как это университет славянский).

Огромное большинство учащейся молодежи в Германии уже тогда держало сторону реакции, разумеется, не феодальной, а консервативно-либеральной; оно было поборником государственного порядка во что бы то ни стало. Можно себе представить, чем эта молодежь сделалась теперь.

Радикальная партия разделялась на две категории. Обе образовались под прямым влиянием французских революционных идей. Но между ними была огромная разница. К первой категории принадлежали люди, составлявшие цвет ученого молодого поколения Германии: доктора разных факультетов, медики, адвокаты, а также и немало чиновников, писатели, журналисты, ораторы; все, разумеется, глубокомысленные политики, нетерпеливо ждавшие революции, которая должна была открыть широкое поприще для их талантов. Едва началась революция, эти люди стали во главе всей радикальной партии и после многих ученых эволюции, истощивших ее понапрасну и парализовавших в ней последние остатки энергии, дошли до совершенного ничтожества.

Но была другая категория людей, менее блестящих и честолюбивых, но зато более искренних и потому несравненно более серьезных, они состояли из мелких буржуа. В ней было много школьных учителей и бедных приказчиков торговых и индустриальных домов. Были, разумеется, также и адвокаты, и медики, и профессора, и журналисты, и книгопродавцы, и даже чиновники, но в самом незначительном количестве. Эти люди были действительно святыми людьми и самыми серьезными революционерами в смысле безграничной преданности и готовности жертвовать собой до конца и без фраз революционному делу. Нет сомнения, что будь у них другие предводители и будь вообще германское общество способно и расположено к народной революции, они принесли бы драгоценную пользу.

Но эти люди были революционерами и готовы были честно служить революции, не отдавая себе ясного отчета в том, что такое революция и чего должно требовать от нее. У них не было, да и не могло быть ни коллективного инстинкта, ни коллективной воли и мысли. Они были индивидуальными революционерами без всякой почвы под ногами, и, не находя в себе руководящей мысли, они должны были слепо предаться блудному руководству своей старшей, ученой братии, в руках которой сделались орудием для обмана, сознательного или бессознательного, народных масс. По личному инстинкту они хотели всеобщего освобождения, равенства, благоденствия для всех, а их заставляли работать для торжества пангерманского государства.

В Германии существовал тогда, как и теперь, революционный элемент еще более серьезный это городской пролетариат; он доказал в Берлине, в Вене и во Франкфурте-на-Майне в 1848 и в 1849 в Дрездене, в Ганноверском королевстве и в Баденском герцогстве, что способен и готов к восстанию серьезному, лишь только находил сколько-нибудь толковое и честное предводительство. В Берлине нашелся даже элемент, которым славился до тех пор только один Париж, это уличный мальчишка-гамен, революционер и герой.

В то время городской пролетариат в Германии, по крайней мере его огромное большинство,

находился еще почти совсем вне влияния пропаганды Маркса и вне организации его коммунистической партии. Распространена она была главным образом в индустриальных городах прусского Рейна, особенно в Кельне. Существовали также ветви ее в Берлине, в Бреславле и под конец в Вене, но весьма слабые. Разумеется, в германском пролетариате, как и в пролетариате других стран, находились в зародыше как инстинктивный запрос все социалистические стремления, которые более или менее обнаруживались народными массами решительно во всех прошедших революциях, не только политических, но даже религиозных. Но огромная разница между таким инстинктивным заявлением и сознательным, ясно определенным требованием социального переворота или социальных реформ. Такого требования в Германии ни в 1848, ни в 1849 г. решительно не было, хотя известный манифест немецких коммунистов, сочиненный и написанный гг. Марксом и Энгельсом, был уже опубликован в марте 1848 года. Он пронесся над немецким народом почти без следа. Революционный пролетариат всех городов Германии был непосредственно подчинен партии политических радикалов, или крайней демократии, что давало ей огромную силу; но сама, сбитая с толку буржуазно-патриотическою программою, а также и совершенною несостоятельностью своих вожаков, буржуазная демократия обманула народ.

Наконец, в Германии был еще элемент, которого ныне уже нет, это революционное крестьянство или, по крайней мере, способное сделаться революционным. В то время в большей половине Германии существовал еще остаток старого крепостного права, как оно существует еще поныне в двух герцогствах Мекленбургских. В Австрии крепостное право преобладало вполне. Было несомненно, что немецкое крестьянство способно и готово к восстанию. Как в 1830 в баварском Пфальце, так и в 1848 почти в целой Германии, едва стало известным провозглашение французской республики, все крестьянство зашевелилось и приняло сначала самое горячее, живое, деятельное участие в первых выборах депутатов в многочисленные революционные парламенты. Тогда немецкие мужики еще верили, что парламенты смогут и захотят что-нибудь для них сделать, и посылали в них своими представителями людей самых отчаянных, самых красных сколько, разумеется, немецкий политический человек может быть отчаянным и красным. Вскоре, увидав, что от парламентов им не дождаться никакой пользы, мужики охладели; но вначале они были готовы на все, даже на поголовный бунт.

В 1848, как и в 1830, немецкие либералы и радикалы больше всего боялись этого бунта; его не любят даже социалисты школы Маркса. Всем известно, что Фердинанд Лассаль, который по собственному сознанию был прямым учеником этого верховного предводителя коммунистической партии в Германии, что не помешало, однако, учителю по смерти Лассаля высказать ревнивое и завистливое неудовольствие против блестящего ученика, оста вившего далеко за собою в практическом отношении учителя; всем известно, говорим мы, что Лассаль несколько раз высказывал мысль, что поражение крестьянского восстания в XVI в. и последовавшее за ним усиление и процветание бюрократического государства в Германии были истинным торжеством для революции.

Для коммунистов или социальных демократов Германии крестьянство, всякое крестьянство, есть реакция; а государство, всякое государство, даже бисмарковское, революция. Пусть не подумают, что мы клевещем на них. В доказательство того, что они действительно так думают, указываем на их речи, брошюры, журнальные статьи и, наконец, на их письма все это в свое время будет пред-ставлено русской публике. Впрочем, марксисты и думать иначе не могут; государственники во что бы то ни стало, они должны проклинать всякую народную революцию, особенно же крестьянскую, по природе анархическую и идущую прямо к уничтожению государства. Как всепоглощающие пан-германисты, они должны отвергать крестьянскую революцию уже по тому одному, что эта революция специально славянская.

И в этой ненависти к крестьянскому бунту они самым нежным и самым трогательным образом сходятся со всеми слоями и партиями буржуазного германского общества. Мы уже видели, как в 1830 достаточно было крестьянам баварского Пфальца подняться с косами и вилами против господских замков, чтобы охладить внезапно революционный жар, пожиравший тогда южногерманских буршей. В 1848 повторилось то же самое, и решительное противодействие, которое было оказано немецкими радикалами попыткам крестьянского восстания в самом начале революции 1848, чуть ли не было главною причиною печального исхода этой революции.

Она началась неслыханным рядом народных торжеств. В продолжение какого-нибудь месяца после парижских февральских дней были сметены с лица немецкой земли все государственные правительственные учреждения и силы почти без всяких народных усилий. Едва в Париже восторжество-

вала народная революция, как обезумевшие от страха и от презрения к себе правители и правительства стали падать в Германии одно за другим. Было, правда, нечто вроде военных сопротивлений в Берлине и в Вене; но они были так ничтожны, что о них и говорить нечего.

Итак, революция победила в Германии почти без всякого кровопролития. Все оковы разбились, все преграды сломились сами собою. Немецкие революционеры могли сделать все. Что же они сделали?

Скажут, что не в одной Германии, а в целой Европе революция оказалась несостоятельной. Но во всех других странах революция после долгой, серьезной борьбы была побеждена иноземными силами: в Италии австрийскими войсками, в Венгрии соединенными русскими и австрийскими; в Германии же она была сокрушена собственною несостоятельностью революционеров.

Во Франции, может быть, скажут, случилось то же самое; нет, во Франции было совершенно другое. Там поднялся именно в это время страшный революционный вопрос, отбросивший вдруг всех буржуазных политиков, даже красных революционеров, в реакцию. Во Франции в достопамятные июньские дни вторично встретились буржуазия и пролетариат как враги, между которыми примирение невозможно. В первый раз они встретились еще в 1834 году в Лионе.

В Германии, как мы уже заметили, социальный вопрос тогда едва начинал пробиваться подземными путями в сознание пролетариата, и хотя тогда упоминалось о нем, но более теоретически и как о вопросе более французском, чем немецком. Поэтому он еще не мог отделить немецкого пролетариата от демократов, за которыми работники готовы были следовать без рассуждений, лишь бы демократы пожелали вести их на битву.

Но именно уличной битвы не хотели вожаки и политики демократической партии Германии. Они предпочитали бескровные и безопасные битвы в парламентах, которые барон Ислагиш, хорватский бан и одно из орудий габсбурго-австрийской реакции, живописно прозвал «Заведениями для риторических упражнений.

Парламентов и учредительных собраний в Германии было тогда без счета. Между ними первым считалось национальное собрание во Франкфурте, которое должно было создать общую конституцию для целой Германии. Оно состояло приблизительно из 600 депутатов, представителей всей германской земли, выбранных прямо народом. Были также и депутаты собственно немецких областей Австрий-ской империи; славяне же богемские и моравские отказались послать туда своих депутатов, к боль-шому негодованию немецких патриотов, никак не могущих, а главное, не хотящих понять, что Боге-мия и Моравия, по крайней мере насколько они населены славянами, вовсе не немецкие земли. Та-ким образом, во Франкфурте собрался из всех концов Германии цвет немецкого патриотизма и либе-рализма, немецкого ума и немецкой учености. Все патриоты и революционеры двадцатых и тридца-тых годов, имевшие счастие дожить до этого времени, все либеральные знаменитости сороковых го-дов встретились в этом верховном, общегерманском парламенте. И вдруг, к общему изумлению, с са-мых первых дней оказалось, что по крайней мере три четверти депутатов, вышедшие прямо из всеоб-щего народного избирательства, реакционеры! И не только реакционеры, но политические шалуны, очень ученые, но чрезвычайно невинные.

Они не на шутку вообразили, что им стоит только извлечь из их мудрых голов конституцию для целой Германии и провозгласить ее во имя народа, чтобы все немецкие правительства тотчас подчинились ей. Они поверили обещаниям и клятвам немецких государей, как будто в продолжение более чем тридцати лет, от 1815 до 1848, не испытали и на самих себе, и на своих товарищах их нахального и систематического вероломства. Глубокомысленные историки и юристы не поняли простой истины, объяснение и подтверждение которой они могли бы прочесть на каждой странице истории, а именно: чтобы сделать безопасною какую бы то ни было политическую силу, чтобы ее умиротворить, покорить, есть только одно средство уничтожить ее. Философы не поняли, что против политической силы никаких других гарантий быть не может, кроме совершенного уничтожения, что в политике, как на арене взаимно борющихся сил и фактов, слова, обещания и клятвы ничего не значат, уже по тому одному, что всякая политическая сила, пока остается действительною силою даже помимо и против воли властей и государей, ею заправляющих, по самому существу своему и под опасностью самоуничтожения, должна неуклонно и во что бы то ни стало стремиться к осуществлению своих целей.

Германские правительства в марте 1848 были деморализованы, запуганы, но далеко не уничтожены. Старая государственная, бюрократическая, юридическая, финансовая, политическая и военная организация осталась неповрежденная. Уступая напору времени, они немного распустили удила, но все концы их оставались в руках государей. Огромнейшее большинство чиновников, привыкших

к механическому исполнению, вся полиция, вся армия были им преданы по-прежнему, даже пуще прежнего, потому что посреди народной бури, грозившей всему их существованию, только от них могли ждать спасения. Наконец, несмотря на повсеместное торжество революции, взимание и платеж податей производились с прежней аккуратностью.

В начале революции несколько изолированных голосов, правда, требовали, чтобы на всей немецкой земле приостановлены были платежи податей и вообще исполнение всяких повинностей натуральных и денежных, пока не будет водворена и не установлена в ней новая конституция. Но против такого предложения, встретившего много сомнений в самом народе, особливо в крестьянах, поднялся грозный, единодушный хор порицаний со стороны всего буржуазного мира, не только либералов, но и самых красных революционеров и радикалов. Ведь они клонились прямо к государственному банкротству и к разрушению всех государственных учреждений, и это в то самое время, когда все хлопотали о создании нового, еще сильнейшего, единого и нераздельного пангерманского государства! Помилуйте! Разрушение государства! Это было бы, пожалуй, освобождением и праздником для глупой толпы чернорабочего люда, но для порядочных людей, для целой буржуазии, существующей только силой государственности, беда. И так как франкфуртскому национальному собранию, а вместе с ним и всем радикалам Германии даже и в голову не могла прийти мысль об уничтожении государственной силы, которая находилась в руках немецких государей, так как они, с другой стороны, не умели, да и не хотели организовать народную силу, с нею несовместную, то им ничего более не оставалось сделать, как утешать себя верою в святость обещаний и клятв этих самых государей.

Людям, толкующим о специальном призвании науки и ученых организировать общества и управлять государствами, не худо бы было напоминать почаще о трагикомической судьбе несчастного франкфуртского парламента. Если какое-либо политическое собрание заслужило название ученого, то именно этот пангерманский парламент, в котором заседали знаменитейшие профессора всех немецких университетов и всех факультетов, особенно же юристы, политико-экономисты и историки. И, во-первых, как мы уже заметили выше, это собрание в своем большинстве оказалось страшно реакционерным, до того, что когда Радовиц, друг, постоянный корреспондент и верный слуга короля Фридриха Вильгельма IV, бывший перед тем прусским посланником при Германском союзе, а в мае 1848 сделавшийся депутатом Национального собрания, когда Радовиц предложил этому собранию торжественно заявить свою симпатию австрийским войскам, этой немецкой армии, составленной большей частью из мадьяр и хорватов и посланной венским кабинетом против бунтующих итальянцев, огромное большинство, восхищенное его германо-патриотическою речью, встало и рукоплескало австрийцам. Этим оно торжественно заявило, во имя целой Германии, что главная и, можно сказать, едино-серьезная цель немецкой революции была отнюдь не завоевание свободы для немецких народов, а сооружение для них огромной новой патриотической тюрьмы под названием единой и нераздельной пангерманской империи.

Ту же грубую несправедливость собрание оказало и в отношении поляков Познанского герцогства, и вообще ко всем славянам. Все эти племена, ненавидящие немцев, должны были быть поглощены пангерманским государством. Того требовало будущее могущество и величие немецкого отечества.

Первый внутренний вопрос, который представился решению мудрого и патриотического собрания, был: должны ли общегерманские государства быть республикою или монархией? И, разумеется, вопрос был решен в пользу монархии. В этом, однако, господ профессоров-депутатов и законодателей винить не следует. Разумеется, они, как истые и к тому же ученые немцы, т. е. как сознательно убежденные хамы, всею душою стремились к сохранению своих драгоценных государей. Но если бы они даже и не имели таких стремлений, то они все-таки должны бы были решить в пользу монархий, потому что, за исключением немногих сотен искренних революционеров, о которых мы упоминали выше, того хотела вся немецкая буржуазия.

А в доказательство этого приведем слова почтенного патриарха демократической партии, ныне социал-демократа, вышесказанного кенигсбергского патриота доктора Иоганна Якоби. В речи, произнесенной им в 1858 году перед кенигсбергскими избирателями, он сказал следующее:

«Теперь, господа, я говорю это из глубины своего полнейшего убеждения, теперь во всей стране нашей, во всей демократической партии нет ни одного человека, который, я не говорю, стремился к другой государственной форме, кроме монархической, но который только мечтал бы о ней. Еще далее он прибавляет: «Если какое-либо время, то именно 1848 показал нам, какие глубокие корни пустил монархический элемент в сердце народа.

Второй вопрос был: какую форму будет иметь Германская империя, централизованную или федеральную? Первая была бы логичною и несравненно сообразнее цели, образованию единого, нераздельного и могучего германского государства. Но для осуществления ее необходимо бы было лишить власти, престола и выгнать из Германии всех государей, кроме одного, т. е. начать и довести до конца множество частных бунтов. Это было слишком противно немецкому верноподданству, и потому во-прос был решен в пользу федеральной монархии сообразно старому идеалу ± множество средних и ма-леньких государей и столько же парламентов, а во главе всего этого единый общегерманский импера-тор и парламент.

Кто же будет императором? Таков был главный вопрос. Ясно было, что на это место возможно было назначить только австрийского императора или прусского короля. Никого другого ни Австрия, ни Пруссия не потерпели бы.

Большинство симпатий в собрании было в пользу австрийского императора. На это было много причин: во-первых, все непрусские немцы ненавидели и ненавидят Пруссию, как в Италии ненавидят Пьемонт. Король же Фридрих Вильгельм IV своим взбалмошным, самодурным поведением перед революцией и после нее совсем утратил все симпатии, приветствовавшие его при вступлении на престол. К тому же вся Южная Германия по характеру своего населения, большею частью католического, и по историческим преданиям и привычкам склонялась решительно в пользу Австрии.

Но выбор австрийского императора был все-таки невозможен, потому что Австрийская империя, обуреваемая революционными движениями в Италии, Венгрии, Богемии и наконец, в самой Вене, находилась на краю гибели, тогда как Пруссия была вооруженная и готовая, несмотря на волнения в улицах Берлина, Кенигсберга, Позена, Бреславля и Кельна.

Немцы хотели единой, могучей империи несравненно сильнее, чем свободы. Всем ясно было, что только одна Пруссия могла дать Германии серьезного императора. Поэтому, если бы у господ профессоров, составлявших чуть ли не большинство франкфуртского парламента, была хоть капля здравого критического смысла, капля энергии, они должны бы были не задумываясь, не откладывая, а скрепя сердце тотчас же предложить императорскую корону прусскому королю.

В начале революции Фридрих Вильгельм IV непременно бы ее принял. Берлинское восстание, победа народа над войском поразило его в самое сердце; он чувствовал себя униженным и искал какого бы то ни было средства, чтобы спасти, восстановить свою королевскую честь. Не имея другого средства, он собственным движением ухватился за императорскую корону. Уже 21 марта, три дня после своего поражения в Берлине, он издал манифест к немецкой нации, где объявил, что ради спасения Германии он становится во главе общего германского отечества. Написав этот манифест собственноручно, он сел на коня и, окруженный военною свитою, с трехцветным пангерманским знаменем в руке, проехал торжественно по улицам Берлина.

Но франкфуртский парламент не понял или не захотел понять этого совсем нетонкого намека, и вместо того чтобы прямо и просто провозгласить прусского короля императором, они, как это делают близорукие и нерешительные люди, прибегли к средней мере, которая, ничего не решив, была прямым оскорблением прусского короля. Господа профессора не поняли, что прежде выбора германского императора они должны были состряпать общегерманскую конституцию, а еще прежде должны были формулировать «основные права немецкого народа¬.

Больше полгода употреблено было учеными законодателями на юридическое определение этого права. Практические же дела они передали установленному ими временному правительству, составленному из безответственного правителя государства и из ответственного министерства. Правителем выбрали опять-таки не прусского короля, а в пику ему эрцгерцога австрийского.

Выбрав его, франкфуртское собрание требовало, чтобы все союзные войска присягнули ему. Повиновались только ничтожные войска маленьких государей, прусские же, ганноверские и даже австрийские отказались напрямик. Таким образом, для всех стало ясно, что сила, влияние, значение франкфуртского собрания равны нулю и что судьба Германии решилась не во Франкфурте, а в Берлине и Вене, особенно в первом, так как вторая была слишком озабочена своими собственными, исключительно австрийскими и далеко не немецкими делами, чтобы иметь время заниматься делами Германии.

Что же делала в это время радикальная, или так называемая революционная, партия? Большинство непрусских членов ее находилось во франкфуртском парламенте и составляло меньшинство. Остальные были в частных парламентах и также парализованы, во-первых, потому что влияние этих парламентов на общий ход дел Германии по самой ничтожности их было необходимо ничтожно, а во-

вторых, потому что даже парламентство в Берлине, Вене, Франкфурте было смешно и пустословно. Прусское конституционное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 и заключавшее почти весь цвет радикализма, ясно доказало это. В нем произносились самые пламенные, самые красноречивые и даже революционные речи, но дела не делалось никакого. С первых заседаний оно отвергло проект конституции, представленный правительством и подобно франкфуртскому собранию, употребило несколько месяцев на обсуждение своего проекта, причем радикалы заявляли вперегонку, на удивление всему народу, свою революционность.

Вся революционная неспособность, чтобы не сказать непроходимая глупость, немецких демократов и революционеров вышла наружу. Прусские радикалы совершенно ушли в парламентскую игру и потеряли смысл для всего остального. Они серьезно поверили в силу парламентских решений, и самые умные между ними думали, что победы, одерживаемые ими в парламентских прениях, решают судьбы Пруссии и Германии.

Они задали себе неразрешимую задачу: примирение демократического самоуправления и равноправия с монархическими учреждениями. В доказательство приведем речь, произнесенную в июне 1848 одним из главных вожаков этой партии, доктором Иоганном Якоби, перед своими избирателями в Берлине и ясно представляющую всю демократическую программу:

«Идея республики есть высшее и чистейшее выражение гражданского самоуправления и равноправия. Но возможно ли осуществление республиканской формы правления при условиях, данных действительностью в известное время и в известной стране, это другой вопрос. Только всеобщая, единодушная воля граждан может решить его. Безумно бы поступило всякое отдельное лицо, если бы оно осмелилось взять на себя ответственность за такое решение. Безумна и даже преступна была бы партия, которая бы вздумала навязать народу эту форму правления. Не только сегодня, но в марте на предварительном собрании во Франкфурте я говорил то же самое баденским депутатам и старался отговорить их, хотя, увы! и тщетно, от республиканского восстания. В целой Германии исключая одного Бадена сама революция остановилась почтительно перед непоколебленными тронами и доказала этим, что хотя она и может положить предел произволу своих государей, но отнюдь не намерена прогнать их. Мы должны покориться общественной воле, и потому конституционно-монархическая форма правления есть та единая почва, на которой мы обязаны соорудить новое политическое здание.

Итак, новое устройство монархии на демократических основаниях вот трудная, прямо невозможная задача, разрешение которой задали себе глубокомысленные, но зато чрезвычайно мало революционные радикалы и красные демократы прусской конституанты, и чем более они углублялись в нее, придумывая новые конституционные цепи, в которые намеревались заковать не только народную волю, но и монарший произвол своего обожаемого, полусумасшедшего государя, тем более они удалялись от настоящего дела.

Как ни огромна была их практическая близорукость, она не могла простираться до того, чтобы не видеть, как монархия, хотя и побежденная в мартовские дни, но не уничтоженная явно, конспирировала и собирала вокруг себя весь старый реакционно-аристократический, военный, полицейский и бюрократический мир, выжидая удобного случая для разогнания демократов и захвата власти, попрежнему безграничной. Та же речь доктора Якоби доказывает, что прусские радикалы это хорошо видели. «Не будем себя обманывать, сказал он, абсолютизм и юнкерств [1] отнюдь не исчезли и не перевелись, они едва считают нужным и дают себе труд притворяться мертвыми. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть стремление реакции.

Итак, прусские радикалы довольно ясно видели грозившую им опасность. Что же они сделали для предупреждения ее? Монархически-феодальная реакция была не теория, а сила, страшная сила, имевшая за собою всю армию, горевшую нетерпением смыть с себя срам мартовского поражения и восстановить омраченную и оскорбленную королевскую власть в народной крови, всю бюрократию, весь государственный организм, располагавший огромными финансовыми средствами. Неужели же радикалы думали, что они в состоянии связать эту грозную силу новыми законами и конституцией, т. е. чисто бумажными средствами?

---

[1] Так называют в Пруссии дворянское направление и военно-дворянскую партию. Слово «юнкер употребляется в смысле дворянина.

Да, они были бы довольно практичны и мудры, чтобы питать такие надежды. Иначе чем объяснить, что они, вместо принятия ряда практических и действительных мер против висевшей над ними грозы, провели целые месяцы в толках о новой конституции и о новых законах, долженствовавших подчинить всю государственную силу и власть парламенту? Они до того верили в действительность своих парламентских прений и законоположений, что пренебрегли единственным средством, чтобы противоположить силе государственно-реакционной силу революционно-народную путем организации последней.

Неслыханно легкое торжество народных восстаний над войском почти во всех столицах Европы, ознаменовавшее начало революции 1848, было вредно для революционеров не только Германии, но и всех других стран, потому что оно возбудило в них глупую уверенность, что малейшей народной демонстрации достаточно, чтобы сломить всякое военное сопротивление. Вследствие такого убеждения прусские и вообще германские демократы и революционеры, думая, что от них всегда будет зависеть напугать правительство народным движением, если оно окажется нужным, не видели никакой необходимости ни в организации, ни в направлении, не говоря уже об умножении революционных страстей и сил в народе.

Напротив, как подобает добрым буржуа, самые революционные между ними боялись этих страстей и этой силы, всегда были готовы принять против них сторону государственного и буржуазно-общественного порядка и вообще думали, что чем реже будут прибегать к опасному средству народного бунта, тем лучше. Таким образом, официальные революционеры Германии и Пруссии пренебрегли единственным находящимся у них средством для одержания окончательной и действительной победы над вновь возникавшей реакцией. Они не только не думали об организации народной революции, напротив, старались везде умиротворить и успокоить ее и этим самым ломали единственное серьезное оружие, которым они обладали.

Июньские дни, победа военного диктатора и республиканского генерала Кавеньяка над парижским пролетариатом должны бы были открыть глаза демократам Германии. Июньская катастрофа была не только несчастием для парижских работников, но первым и, можно сказать, решительным поражением для революции в Европе. Реакционеры всех стран скорее и лучше поняли трагическое и столь выгодное для них значение июньских дней, чем революционеры, и в особенности немецкие.

Нужно было видеть, какой восторг возбудило первое известие о них во всех реакционных кругах; оно было принято, как весть о спасении. Руководимые совершенно верным инстинктом, они увидели в торжестве Кавеньяка не только победу французской реакции над революцией французской, но победу всемирной или интернациональной реакции над международною революцией. Военные люди, штабы всех стран приветствовали ее как интернациональное искупление военной чести. Известно, офицеры прусских, австрийских, саксонских, ганноверских, баварских и других немецких войск тотчас же послали генералу Кавеньяку, временному правителю французской республики, поздравительный адрес, разумеется, с разрешения начальства и с одобрения своих государей.

Победа Кавеньяка имела в самом деле громадное историческое значение. С нее начинается новая эпоха в интернациональной борьбе реакции с революцией. Восстание парижских работников, продолжавшееся четыре дня, от 23 до 26 июня, превзошло своею дикою энергией и ожесточением все народные бунты, которых Париж когда-либо был свидетелем. С него, собственно, началась социальная революция, которой он был первым актом, а последнее, еще более отчаянное сопротивление Парижской Коммуны вторым.

В июньских восстаниях в первый раз встретились без масок, лицом к лицу, дикая народная сила, борющаяся уже не за других, а собственно за себя, никем не руководимая, подымающаяся собственным движением для защиты своих священнейших интересов, и дикая военная сила, не обузданная никакими соображениями уважения к требованиям цивилизации и человечности, общественной учтивости и гражданского права и в опьянении дикой борьбы беспощадно все жгущая, режущая и уничтожающая.

Во всех предшествовавших революциях в борьбе против народа, встречая против себя не только народные массы, но и почтенных граждан, стоящих в их главе, университетское и политехническое юношество и, наконец, национальную гвардию, большею частью состоящую из буржуа, войска как-то скоро деморализовались и, прежде чем были действительно разбиты, уступали и отступали или братались с народом. В самом пылу битвы между борющимися сторонами существовал и соблюдался род договора, не позволявшего самым ярым страстям переступить известные границы, точно, как будто

обе стороны по общему условию дрались тупым оружием. Ни со стороны народа, ни со стороны войска никому в голову не приходило, что можно безнаказанно разрушать дома, улицы или резать десятки тысяч безоружных людей. Была общая фраза, беспрестанно повторяемая консервативною партией, когда она отстаивала какую-нибудь реакционную меру и, хотела усыпить недоверие противной партии: «Власть, которая для одержания победы над народом вздумала бы бомбардировать Париж, стала бы тотчас же невозможною[1].

Такое ограничение в употреблении военной силы было чрезвычайно выгодно для революции и объясняет, по чему прежде народ большей частью выходил победителем. Вот этим-то легким победам народа над войском генерал Кавеньяк захотел положить конец.

[1] Эти слова были сказаны в палате депутатов Тьером в 1840, когда, будучи министром Людовика Филиппа, он внес в палату проект о фортификации Парижа. Тридцать один год спустя Тьер, президент французской республики, бомбардировал Париж для усмирения Коммуны.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУНИН

Государственность и Анархия

Редакция: Asqwerty
Художественный редактор: Амидала
Ответственный за выпуск: (в бегах)
Компьютерное обеспечение: (в подполье)

Подписано в печать (точная дата неизвестна)
Формат бумаги 60x90/16
Тираж: неимоверный.
Цена непомерная

Издательство: засекречено, адрес прежний, телефоны те же.

Отпечатано в типографии «Юный подпольщик»

Кто облечён властью, тот по неизменному социалистическому закону непременно сделается притеснителем и эксплуататором общества.

М.А.Бакунин